

ДЕТИ КАТАСТРОФЫ



Лиза Лурье-Клебанова

ДЕТИ КАТАСТРОФЫ

ЛИЗА ЛУРЬЕ-КЛЕБАНОВА

ДЕТИ КАТАСТРОФЫ

ИЗ РАССКАЗОВ МАТЕРЕЙ И ДЕТЕЙ,
СПАСШИХСЯ ОТ КАТАСТРОФЫ

*Лиза Лурье-Клебанова
410 8091*

Иерусалим 1988

ОГЛАВЛЕНИЕ

От составителя	7
Письмо матери	11
Киев, Бабий Яр	27
Из дневника Сарры Глейх	31
Как погибла женщина-врач Лангман	35
Убийство евреев в Бердичеве	36
Из письма Рахиль Флауле-Мильнер	46
Письмо Сюни Дереш	50
В местечке Ялтушково	52
Письма сирот	53
Сироты	56
Письма белорусских детей	59
Смоленщина	60
Рассказ рыболова из Керчи Иосифа Вайнгертнера	67
Убийство в Джанкое	71
Из дневника скульптора Ривоша	75
Рассказ Семьи Шпунгина	80
Дети с черной дороги	88

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Во время Второй мировой войны немецким войскам удалось захватить огромную территорию Советского Союза. Среди оккупированных немецкими войсками областей Белоруссии и Украины оказались города и местечки с плотным еврейским населением. Нацистские варвары поголовно истребили лиц еврейской национальности. Чудом уцелели лишь одиночки.

В гигантском военном противоборстве, наконец, наступил перелом, и советские войска начали гнать захватчиков на Запад.

В составе советских войск находились военные корреспонденты, освещавшие ход военных действий, среди них — известные писатели-евреи Илья Эренбург и Василий Гроссман.

Советская армия освобождала один населенный пункт за другим. Позади оставались сожженные немецкими военными преступниками деревни, частично разрушенные города и многочисленные рвы, кое-как забросанные землей, с тысячами погребенных в них еврейми, замученными, а затем умерщвленными захватчиками и местными коллаборационистами — величайшими злодеями всех времен и народов.

Советские воины-освободители впервые в своей жизни столкнулись с непревзойденными по своей чудовищности злодеяниями. Преступления, совершенные немецко-фашистскими захватчиками были ужасающими. Их нельзя было замолчать, о них должен был услышать весь мир.

Эренбург и Гроссман стали скурпулезно собирать свидетельские показания местных жителей временно

захваченных территорий и уцелевших от геноцида евреев. Их, впрочем, было очень мало.

Об этой чрезвычайно важной журналистской работе скоро стало известно, и многие советские солдаты, офицеры и редколлегии фронтовых газет начали посылать Эренбургу и Гроссману письма, в которых описывали все что знали о немецко-фашистских преступлениях на оккупированных ими территориях.

По инициативе Эренбурга собранный обличающий материал должен был составить документальный сборник под названием "Черная книга". В ее написании, кроме Эренбурга и Гроссмана, приняли участие советские воины, писатели и ученые.

Издание в СССР "Черной книги" было запрещено Сталиным. "Черная книга" вышла в свет в 1947 г. на румынском языке. Впервые на русском языке она вышла в Иерусалиме, в 1981 году. Затем она появилась на английском языке в США и на идиш — в Иерусалиме. Есть надежда, что она скоро выйдет на иврите.

Публикуемые в настоящей книге рассказы детей взяты из "Черной книги", "Письмо матери" — из романа В. Гроссмана "Жизнь и судьба".

Лиза ЛУРЬЕ-КЛЕБАНОВА

ДЕТИ КАТАСТРОФЫ

**ИЗ РАССКАЗОВ МАТЕРЕЙ И ДЕТЕЙ,
СПАСШИХСЯ ОТ КАТАСТРОФЫ**

ПИСЬМО МАТЕРИ

”Витя, я уверена, мое письмо дойдет до тебя, хотя я за линией фронта и за колючей проволокой еврейского гетто. Твой ответ я никогда не получу, меня не будет. Я хочу, чтобы ты знал о моих последних днях, с этой мыслью мне легче уйти из жизни.

Людей, Витя, трудно понять по-настоящему... Седьмого июля немцы ворвались в город. В городском саду радио передавало последние известия, я шла из поликлиники, после приема больных и остановилась послушать, дикторша читала по-украински статью о боях. Я услышала отдаленную стрельбу, потом через сад побежали люди, я пошла к дому и все удивлялась, как это я пропустила сигнал воздушной тревоги. И вдруг я увидела танк, и кто-то крикнул: ”Немцы прорвались!”

Я сказала: ”Не сейте панику”; накануне я заходила к секретарю горсовета, спросила его об отъезде, он рассердился — ”об этом рано говорить, мы даже списков не составляли”. Словом, это были немцы. Всю ночь соседи ходили друг к другу, спокойней всех были малые дети да я. Решила — что будет со всеми, то будет и со мной. Вначале я ужаснулась, поняла, что никогда тебя не увижу, и мне страстно захотелось еще раз посмотреть на тебя, поцеловать твой лоб, глаза, а потом я подумала — ведь счастье, что ты в безопасности.

Под утро я заснула, и когда проснулась, почувствовала страшную тоску. Я была в своей комнате в своей постели, но ощутила себя на чужбине, затерянная, одна.

Этим же утром мне напомнили забытое за годы советской власти, что я еврейка. Немцы ехали на грузовике и кричали: "Juden kaputt!"

А затем мне напомнили об этом некоторые мои соседи. Жена дворника стояла под моим окном и говорила соседке: "Слава богу, жидам конец". Откуда это? Сын ее женат на еврейке, и старуха ездила к сыну в гости, рассказывала мне о внуках.

Соседка моя, вдова, у нее девочка 6 лет, Аленушка, синие, чудные глаза, я тебе писала о ней когда-то, зашла ко мне и сказала: "Анна Семеновна, попрошу вас к вечеру убрать вещи, я переберусь в вашу комнату". "Хорошо, я тогда перееду в вашу". "Нет, вы переберетесь в каморку за кухней".

Я отказалась, там ни окна, ни печки.

Я пошла в поликлинику, а когда вернулась, оказалось: дверь в мою комнату взломали, мои вещи свалили в каморку. Соседка мне сказала: "Я оставила у себя диван, он все равно не влезет в вашу новую комнату".

Удивительно, она кончила техникум, и покойный муж ее был славный и тихий человек, бухгалтер в Укоиспилке. "Вы вне закона", — сказала она таким тоном, словно ей это очень выгодно. А ее Аленушка сидела у меня весь вечер и я ей рассказывала сказки. Это было мое новоселье, и она не хотела идти спать, мать ее унесла на руках. А затем, Витенька, поликлинику нашу вновь открыли, а меня и еще одного врача-еврея уволили. Я попросила деньги за проработанный месяц, но новый заведующий мне сказал: "Пусть вам Сталин платит за то, что вы заработали при советской власти, напишите ему в Москву". Санитарка Маруся обняла меня и тихонько запричитала: "Господи, Боже мой, что с вами будет, что с вами всеми будет". И доктор Ткачев пожал мне руку. Я не знаю, что тяжелей — злорад-

ство или жалостливые взгляды, которыми глядят на подышающую шелудивую кошку. Не думала я, что придется мне все это пережить.

Многие люди поразили меня. И не только темные, озлобленные, безграмотные. Вот старик педагог, пенсионар, ему 75 лет, он всегда спрашивал о тебе, просил передать привет, говорил о тебе — "он наша гордость". А в эти дни проклятые, встретив меня, не поздоровался, отвернулся. А потом мне рассказывали, он на собрании в комендатуре говорил: "Воздух очистился, не пахнет чесноком". Зачем ему это — ведь ни слова его пачкают. И на том же собрании, сколько клеветы на евреев было... Но, Витенька, конечно, не все пошли на это собрание. Многие отказались. И, знаешь, в моем сознании с царских времен антисемитизм связан с квасным патриотизмом людей из Союза Михаила Архангела. А здесь я увидела, — те, что кричат об избавлении России от евреев, унижаются перед немцами, по-лакейски жалки, готовы продать Россию за тридцать немецких сребренников. А темные люди из пригорода захватывают квартиры, одеяла, платья; такие, вероятно, убивали врачей во время холерных бунтов. А есть душевно вялые люди, они поддакивают всему дурному, лишь бы их не заподозрили в несогласии с властями.

Ко мне непрерывно прибегают знакомые с новостями, глаза у всех безумные, люди, как в бреду. Появилось странное выражение: "перепрятывать вещи". Кажется, что у соседа надежней. Перепрятывание вещей напоминает мне игру.

Вскоре объявили о переселении евреев, разрешили взять с собой 15 килограммов вещей. На стенах домов висели желтенькие объявляльница: "Всем жильцам предлагается переселиться в район Старого города не

позднее шести часов вечера 15 июля 1941 года”. Не переселившимся – расстрел.

Ну вот, Витенька, собралась и я. Взяла я с собой подушку, немного белья, чашечку, которую ты мне когда-то подарил, ложку, нож, две тарелки. Много ли человеку нужно? Взяла несколько медицинских инструментов. Взяла твои письма, фотографии покойной мамы и дяди Давида, и ту, где ты с папой снят, томик Пушкина, “Lettres de mon moulin“, томик Мопассана, где “Une vie“ словарик, взяла Чехова, где “Скучная история” и “Архиерей”, – вот и, оказалось, заполнила всю свою корзину. Сколько я под этой крышей тебе писем написала, сколько часов ночью проплакала, теперь уж скажу тебе, о своем одиночестве.

Простилась с домом, с садиком, посидела несколько минут под деревом, простилась с соседями. Странно устроены некоторые люди. Две соседки при мне стали спорить о том, кто возьмет себе стулья, кто письменный столик, а стала с ними прощаться, обе заплакали. Попросила соседей Басанько, если после войны ты приедешь узнать обо мне, пусть расскажут поподробней – и мне обещали. Тронула меня собачонка, дворняжка Тобик – последний вечер как-то особенно ласкалась ко мне.

Если приедешь, ты ее покорми за хорошее отношение к старой жидовке.

Когда я собралась в путь и думала, как мне дотащить корзину до Старого города, неожиданно пришел мой пациент Шукин, угрюмый и, мне казалось, черствый человек. Он взялся понести мои вещи, дал мне триста рублей и сказал, что будет раз в неделю приносить мне хлеб к ограде. Он работает в типографии, на фронт его не взяли по болезни глаз. До войны он лечился у меня, и если бы мне предложили перечислить людей с отзывчивой, чистой душой, я назвала бы де-

сятки имен, но не его. Знаешь, Витенька, после его прихода я снова почувствовала себя человеком, значит, ко мне не только дворовая собака может относиться по-человечески.

Он рассказал мне — в городской типографии печатается приказ: евреям запрещено ходить по тротуарам, они должны носить на груди желтую плату в виде шестиконечной звезды, они не имеют права пользоваться транспортом, банями, посещать амбулатории, ходить в кино, запрещается покупать масло, яйца, молоко, ягоды, белый хлеб, мясо, все овощи, исключая картошку; покупки на базаре разрешается делать только после шести вечера (когда крестьяне уезжают с базара). Старый город будет обнесен колючей проволокой, и выход за проволоку запрещен, можно только под конвоем на принудительные работы. При обнаружении еврея в русском доме хозяину — расстрел, как за укрытие партизана.

Тесть Шукина, старик крестьянин, приехал из соседнего местечка Чуднова и видел своими глазами, что всех местных евреев с узлами и чемоданами погнали в лес, и оттуда в течение всего дня доносились выстрелы и дикие крики, ни один человек не вернулся. А немцы, стоявшие на квартире у тестя, приехали поздно вечером — пьяные и еще пили до утра, пели и при старике делили между собой брошки, кольца, браслеты. Не знаю, случайный ли это произвол или предвестие ждущей и нас судьбы?

Как печален был мой путь, сыночек, в средневековое гетто. Я шла по городу, в котором проработала 20 лет. Сперва мы шли по пустынной Свечной улице. Но когда мы вышли на Никольскую, я увидела сотни людей, шедших в это проклятое гетто. Улица стала белой от узлов, от подушек. Больных вели под руки. Парализованного отца доктора Маргулиса несли на

одеяле. Один молодой человек нес на руках старуху, а за ним шли жена и дети, нагруженные узлами. Заведующий магазином бакалеи Гордон, толстый, с одышкой, шел в пальто с меховым воротником, а по лицу его тек пот. Поразил меня один молодой человек: он шел без вещей, подняв голову, держа перед собой раскрытую книгу с надменным и спокойным лицом. Но сколько рядом было безумных, полных ужаса.

Шли мы по мостовой, а на тротуаре стояли люди и смотрели.

Одно время я шла с Маргулисами и слышала сочувственные вздохи женщин. А над Гордоном в зимнем пальто смеялись, хотя, поверь, он был ужасен, не смешон. Видела много знакомых лиц. Одни слегка кивали мне, прощаясь, другие отворачивались. Мне кажется, в этой толпе равнодушных глаз не было; были любопытные, были безжалостные, но несколько раз я видела заплаканные глаза.

Я посмотрела — две толпы, евреи в пальто, шапках, женщины — в теплых платках, а вторая толпа на тротуаре одета по-летнему. Светлые кофточки, мужчины без пиджаков, некоторые в вышитых украинских рубашках. Мне показалось, что для евреев, идущих по улице, уже и солнце отказалось светить, они идут среди декабрьской ночной стужи.

У входа в гетто я простилась с моим спутником, он мне показал место у проволочного ограждения, где мы будем встречаться.

Знаешь, Витенька, что я испытала, полав за проволоку? Я думала, что почувствую ужас. Но, представь, в этом загоне для скота мне стало легче на душе. Не думай, не потому, что у меня рабская душа. Нет. Нет. Вокруг меня были люди одной судьбы, и в гетто я не должна, как лошадь, ходить по мостовой, и нет взоров злобы, и знакомые люди смотрят мне в глаза и не из-

бегают со мной встречи. В этом загоне все носят печать, поставленную на нас фашистами, и поэтому здесь не так жжет мою душу эта печать. Здесь я себя почувствовала не бесправным скотом, а несчастным человеком. От этого мне стало легче.

Я поселилась вместе со своим коллегой, доктором-терапевтом Шперлингом, в мазаном домике из двух комнатушек. У Шперлингов две взрослые дочери и сын, мальчик лет двенадцати. Я подолгу смотрю на его худенькое личико и печальные большие глаза; его зовут Юра, а я раза два называла его Витей, и он меня поправлял: "Я Юра, а не Витя".

Как различны характеры людей! Шперлинг в свои пятьдесят восемь лет полон энергии. Он раздобыл матрацы, керосин, подводу дров. Ночью внесли в домик мешок муки и полмешка фасоли. Он радуется всякому своему успеху, как молодожен. Вчера он развешивал коврики. "Ничего, ничего, все переживем, — повторяет он. — Главное, запастись продуктами и дровами".

Он сказал мне, что в гетто следует устроить школу. Он даже предложил мне давать Юре уроки французского языка и платить за урок тарелкой супа. Я согласилась.

Жена Шперлинга, толстая Фанни Борисовна, вздыхает: "Все погибло, мы погибли", — но при этом следит, чтобы старшая дочь Люба, доброе и милое существо, не дала кому-нибудь горсть фасоли или ломтик хлеба. А младшая, любимица матери, Аля — истинное исчадие ада: властная, подозрительная, скупая; она кричит на отца, на сестру. Перед войной она приехала погостить из Москвы и застряла.

Боже мой, какая нужда вокруг! Если бы те, кто говорит о богатстве евреев и о том, что у них всегда накоплено на черный день, посмотрели на наш Старый го-

род! Вот он и пришел, черный день, чернее не бывает. Ведь в Старом городе не только переселенные с 15 килограммами багажа, здесь всегда жили ремесленники — старики, рабочие, санитарки. В какой ужасной тесноте, жили они и живут. Как едят! Посмотрел бы ты на эти полуразваленные, вросшие в землю хибарки.

Витенька, здесь я вижу много плохих людей — жадных, хитрых, даже готовых на предательство. Есть тут один страшный человек, Эпштейн, попавший к нам из какого-то польского городка, — он носит повязку на рукаве и ходит с немцами на обыски, участвует в допросах, пьянствует с украинскими полициями, и они посылают его по домам вымогать водку, деньги, продукты. Я два раза видела его — рослый, красивый, в франтовском кремовом костюме, и даже желтая звезда, пришитая к его пиджаку, выглядит, как желтая хризантема.

Но я хочу тебе сказать и о другом. Я никогда не чувствовала себя еврейкой, с детских лет я росла в среде русских подруг, я любила больше всех поэтов Пушкина, Некрасова, и пьеса, над которой я плакала вместе со всем зрительным залом, съездом русских земских врачей, была "Дядя Ваня" со Станиславским. А когда-то, Витенька, когда я была четырнадцатилетней девочкой, наша семья собралась эмигрировать в Южную Америку. И я сказала папе: "Не поеду никуда из России, лучше утоплюсь". И не уехала.

А вот в эти ужасные дни мое сердце наполнилось материнской нежностью к еврейскому народу. Раньше я не знала этой любви. Она напоминает мне мою любовь к тебе, дорогой сынок.

Я хожу к больным на дом. В крошечные комнатки втиснуты десятки людей: полуслепые старики, грудные дети, беременные. Я привыкла в человеческих гла-

зах искать симптомы болезней — глаукомы, катаракты. Я теперь не могу так смотреть в глаза людям — в глазах я вижу лишь отражение души. Хорошей души, Витенька! Печальной и доброй, усмехающейся и обреченной, побежденной насилием и в то же время торжествующей над насилием. Сильной, Витя, души!

Если бы ты видел, с каким вниманием старики и старухи спрашивают меня о тебе. Как сердечно утешают меня люди, которым я ни на что не жалуясь, люди, чье положение ужасней моего.

Мне иногда кажется, что не я хожу к больным, а, наоборот, народный добрый врач лечит мою душу. А как трогательно вручают мне за лечение кусок хлеба, луковку, горсть фасоли.

Поверь, Витенька, это не плата за визиты! Когда пожилой рабочий пожимает мне руку и вкладывает в сумочку две-три картофелины и говорит: "Ну, ну, доктор, я вас прошу", у меня слезы выступают на глазах. Что-то в этом такое есть чистое, отеческое, доброе, не могу словами передать тебе это.

Я не хочу утешать тебя тем, что легко жила это время, ты удивляйся, как мое сердце не разорвалось от боли. Но не мучься мыслью, что я голодала, я за все это время ни разу не была голодна. И еще — я не чувствовала себя одинокой.

Что сказать тебе о людях? Люди поражают меня хорошим и плохим. Они необычайно разные, хотя все переживают одну судьбу. Но, представь себе, если во время грозы большинство старается спрятаться от ливня, это еще не значит, что все люди одинаковы. Да и прячется от дождя каждый по-своему.

Доктор Шперлинг уверен, что преследования евреев временные, пока война. Таких, как он, немало, и я вижу, чем больше в людях оптимизма, тем они мелочней, тем эгоистичней. Если во время обеда приходит

кто-нибудь, Аля и Фанни Борисовна немедленно прячут еду.

Ко мне Шперлинги относятся хорошо, тем более, что я ем мало и приношу продуктов больше, чем потребляю. Но я решила уйти от них, они мне неприятны. Подыскиваю себе уголок. Чем больше печали в человеке, чем меньше он надеется выжить, тем он шире, добрее, лучше.

Беднота, жестянщики, портняги, обреченные на гибель, куда благородней, шире и умней, чем те, кто ухитрились запасти кое-какие продукты. Молоденькие учительницы, чудак — старый учитель и шахматист Шпильберг, тихие библиотечарши, инженер Рейвич, который беспомощней ребенка и мечтает вооружить гетто самодельными гранатами, что за чудные, непрактичные, милые, грустные и добрые люди.

Здесь я вижу, что надежда почти никогда не связана с разумом, она бессмысленна, я думаю, ее родил инстинкт.

Люди, Витя, живут так, как будто впереди долгие годы. Нельзя понять, глупо это или умно, просто так оно есть. И я подчинилась этому закону. Здесь пришли две женщины из местечка и рассказывают то же, что рассказывал мне мой друг. Немцы в округе уничтожают всех евреев, не щадя детей, стариков. Приезжают на машинах немцы и полиция и берут несколько десятков мужчин на полевые работы, они копают рвы, а затем, через два-три дня немцы гонят еврейское население к этим рвам и расстреливают всех поголовно. Всюду в местечках вокруг нашего города вырастают эти еврейские курганы.

В соседнем доме живет девушка из Польши. Она рассказывает, что там убийства идут постоянно, евреев вырезают всех до единого, и евреи сохранились лишь в нескольких гетто — в Варшаве, Лодзи, Радоме.

И когда я все это обдумала, для меня стало совершенно ясно, что нас здесь собрали не для того, чтобы сохранить, как зубров в Беловежской Пуще, а для убоя. По плану дойдет и до нас очередь через неделю, две. Но, представь, понимая это, я продолжаю лечить больных и говорю: "Если будете систематически промывать лекарством глаза, то через 2—3 недели выздоровеете". Я наблюдаю старика, которому можно будет через полгода-год снять катаракту.

Я задаю Юре уроки французского языка, огорчаюсь его неправильному произношению.

А тут же немцы, врываясь в гетто, грабят, часовые, развлекаясь, стреляют из-за проволоки в детей, и все новые, новые люди подтверждают, что наша судьба может решиться в любой день.

Вот так оно происходит — люди продолжают жить. У нас тут даже недавно была свадьба. Слухи рождаются десятками. То, задыхаясь от радости, сосед сообщает, что наши войска перешли в наступление и немцы бегут. То вдруг рождается слух, что советское правительство и Черчилль предъявили немцам ультиматум, и Гитлер приказал не убивать евреев. То сообщают, что евреев будут обменивать на немецких военнопленных.

Оказывается, нигде нет столько надежд, как в гетто. Мир полон событий, и все события, смысл их, причина, всегда одни — спасение евреев. Какое богатство надежды!

А источник этих надежд один — жизненный инстинкт, без всякой логики сопротивляющийся страшной необходимости погибнуть нам всем без следа. И вот смотрю и не верю: неужели все мы — приговоренные, ждущие казни? Парикмахеры, сапожники, портные, врачи, печники, все работают. Открылся даже маленький родильный дом, вернее, подобие такого дома. Сохнет белье, идет стирка, готовится обед, дети

ходят с 1 сентября в школу, и матери расспрашивают учителей об отметках ребят.

Старик Шпильберг отдал в переплет несколько книг. Аля Шперлинг занимается по утрам физкультурой, а перед сном наворачивает волосы на папильотки, ссорится с отцом, требуя себе какие-то два летних отреза.

И я с утра до ночи занята — хожу к больным, даю уроки, штопаю, стираю, готовлюсь к зиме, подшиваю вату под осеннее пальто. Я слушаю рассказы о карах, обрушившихся на евреев, — знакомую, жену юрисконсульта, избили до потери сознания за покупку утино яйца для ребенка; мальчику, сыну провизора Сироты, прострелили плечо, когда он пробовал пролететь под проволокой и достать мяч. А потом снова слухи, слухи, слухи.

Вот и не слухи. Сегодня немцы угнали восемьдесят молодых мужчин на работы, якобы копать картошку, и некоторые люди радовались — сумеют принести немного картошки для родных. Но я поняла, о какой картошке идет речь.

Ночь в гетто особое время, Витя. Знаешь, друг мой, я всегда приучала тебя говорить мне правду, сын должен всегда говорить матери правду. Но ведь и мать должна говорить сыну правду. Не думай, Витенька, что твоя мама сильный человек. Я — слабая. Я боюсь боли и трушу, садясь в зубоврачебное кресло. В детстве я боялась грома, боялась темноты. Старухой я боялась болезней, одиночества, боялась, что, заболев, не смогу работать, сделаюсь обузой для тебя и ты мне дашь это почувствовать. Я боялась войны. Теперь по ночам, Витя, меня охватывает ужас, от которого леденеет сердце. Меня ждет гибель. Мне хочется звать тебя на помощь.

Когда-то ты ребенком прибегал ко мне, ища защиты. И теперь в минуты слабости мне хочется спрятать

свою голову на твоих коленях, чтобы ты, умный, сильный, прикрыл меня, защитил. Я не только сильна духом, Витя, я и слаба. Часто думаю о самоубийстве, но я не знаю, слабость, или сила, или бессмысленная надежда удерживают меня.

Но хватит. Я засыпаю и вижу сны. Часто вижу покойную маму, разговариваю с ней. Сегодня ночью видела во сне Сашеньку Шапошникову, когда вместе жили в Париже. Но тебя ни разу не видела во сне, хотя всегда думаю о тебе, даже в минуты ужасного волнения. Просыпаюсь, и вдруг этот потолок, и я вспоминаю, что на нашей земле немцы, я прокаженная, и мне кажется, что я не проснулась, а, наоборот, заснула и вижу сон.

Но проходит несколько минут, я слышу, как Аля спорит с Любой, чья очередь отправиться к колодцу, слышу разговоры о том, что ночью на соседней улице немцы проломил голову старику.

Ко мне пришла знакомая, студентка педтехникума, и позвала к больному. Оказалось, она скрывает лейтенанта. раненного в плечо, с обожженным глазом. Милый, измученный юноша с волжской, окающей речью. Он ночью пробрался за проволоку и нашел приют в гетто. Глаз у него оказался поврежден не сильно, я сумела приостановить нагноение. Он много рассказывал о боях, о бегстве наших войск, навел на меня тоску. Хочет отдохнуть и пойти через линию фронта. С ним пойдут несколько юношей, один из них был моим учеником. Ох, Витенька, если б я могла пойти с ними! Я так радовалась, оказывая помощь этому парню, мне казалось, вот и я участвую в войне с фашизмом.

Ему принесли картошки, хлеба, фасоли, а какая-то бабушка связала ему шерстяные носки.

Сегодня день наполнен драматизмом. Накануне Аля через свою русскую знакомую достала паспорт умер-

шей в больнице молодой русской девушки. Ночью Аля уйдет. И сегодня мы узнали от знакомого крестьянина, проезжавшего мимо ограды гетто, что евреи, посланные копать картошку, роют глубокие рвы в четырех верстах от города, возле аэродрома, по дороге на Романовку. Запомни, Витя, это название, там ты найдешь братскую могилу, где будет лежать твоя мать.

Даже Шперлинг понял все, весь день бледен, губы дрожат, растерянно спрашивает меня: "Есть ли надежда, что специалистов оставят в живых?" Действительно, рассказывают, в некоторых местечках лучших портных, сапожников и врачей не подвергли казни.

И все же вечером Шперлинг позвал старика печника, и тот сделал тайник в стене для муки и соли. И я вечером с Юрой читала "Lettres de mon moulin". Помнишь, мы читали вслух мой любимый рассказ "Les vieux" и переглянулись с тобой, рассмеялись, и у обоих слезы были на глазах. Потом я задала Юре уроки на послезавтра. Так нужно. Но какое щемящее чувство у меня было, когда я смотрела на печальное личико моего ученика, на его пальцы, записывающие в тетрадку номера заданных ему параграфов грамматики.

И сколько этих детей: чудные глаза, темные кудрявые волосы, среди них есть наверное, будущие ученые, физики, медицинские профессора, музыканты, может быть, поэты.

Я смотрю, как они бегут по утрам в школу, не по-детски серьезные, с расширенными трагическими глазами. А иногда они начинают возиться, дерутся, хохочут, и от этого на душе не веселей, а ужас охватывает.

Говорят, что дети наше будущее, но что скажешь об этих детях? Им не стать музыкантами, сапожниками, закройщиками. И я ясно сегодня ночью представила

себе, как весь этот шумный мир бородатых, озабоченных папаш, ворчливых бабушек, создательниц медовых пряников, гусиных шеек, мир свадебных обычаев, поговорок, субботних праздников уйдет навек в землю, и после войны жизнь снова зашумит, а нас не будет, мы исчезнем, как исчезли ацтеки.

Крестьянин, который привез весть о подготовке могил, рассказывает, что его жена ночью плакала, причитала: "Они и шьют, и сапожники, и кожу выделывают, и часы чинят, и лекарства в аптеке продают... Что ж это будет, когда их всех побивают?"

И так ясно я увидела, как проходя мимо развалин, кто-нибудь скажет: "Помнишь, тут жили когда-то евреи, печник Борух; в субботний вечер его старуха сидела на скамейке, а возле нее играли дети". А второй собеседник скажет: "А вон под той старой грушей-кислицей обычно сидела докторша, забыл ее фамилию, я у нее когда-то лечил глаза. после работы она всегда выносила плетеный стул и сидела с книжкой". Так оно будет, Витя.

Как будто страшное дуновение прошло по лицам, все почувствовали, что приближается срок.

Витенька, я хочу сказать тебе... нет, не то, не то.

Витенька, я заканчивают свое письмо и отнесу его к ограде гетто и передам своему другу. Это письмо нелегко оборвать, оно — мой последний разговор с тобой, и, переправив письмо, я окончательно ухожу от тебя, ты уже никогда не узнаешь о последних моих часах. Это наше самое последнее расставание. Что скажу я тебе, прощаясь, пред вечной разлукой? В эти дни, как и всю жизнь, ты был моей радостью. По ночам я вспоминала тебя, твою детскую одежду, твои первые книжки, вспоминала твое первое письмо, первый школьный день, все, все вспоминала от первых дней твоей жизни до последней весточки от тебя, телеграм-

мы, полученной 30 июня. Я закрывала глаза, и мне казалось — ты заслонил меня от надвигающегося ужаса, мой друг. А когда я вспоминала, что происходит вокруг, я радовалась, что ты не возле меня — пусть ужасная судьба минет тебя.

Витя, я всегда была одинока. В бессонные ночи я плакала от тоски. Ведь никто не знал этого. Моим утешением была мысль о том, что я расскажу тебе о своей жизни. Расскажу, почему мы разошлись с твоим папой, почему такие долгие годы я жила одна. И я часто думала, как Витя удивится, узнав, что мама его делала ошибки, безумствовала, ревновала, что ее ревновали, была такой, как все молодые. Но моя судьба закончить жизнь одиноко, не поделившись с тобой. Иногда мне казалось, что я не должна жить вдали от тебя, слишком я тебя любила, думала, что любовь дает мне право быть с тобой на старости. Иногда мне казалось, что я не должна жить вместе с тобой, слишком я тебя любила.

Ну, и наконец... Будь всегда счастлив с теми, кого ты любишь, кто окружает тебя, кто стал тебе ближе матери. Прости меня.

С улицы слышен плач женщин, ругань полицейских, а я смотрю на эти страницы и мне кажется, что я защищена от страшного мира, полного страдания.

Как закончить мне письмо? Где взять силы, сынок? Есть ли человеческие слова, способные выразить мою любовь к тебе? Целую тебя, твои глаза, твой лоб, волосы.

Помни, что всегда в дни счастья и в день горя материнская любовь с тобой, ее никто не в силах убить.

Витенька... Вот и последняя строка последнего маминского письма к тебе. Живи, живи, живи вечно... Мама”.

КИЕВ, БАБИЙ ЯР

Тамара очутилась за изгородью.

Сначала она стала в очередь на сдачу вещей, затем в очередь к регистраторам.

Рядом с ней стояли высокая старуха в шляпе со страусовым пером, молодая женщина с мальчиком и рослый плечистый мужчина.

Мужчина взял мальчика на руки.

Михасева подошла к ним.

Мужчина посмотрел на нее и спросил:

— А вы разве еврейка?

— Муж у меня еврей.

— Вам следует уйти, если вы не еврейка, — сказал он. — Подождите немного, мы уйдем вместе.

Он поднял ребенка, поцеловал его в глаза, простился с женой и тещей. Что-то резкое и повелительное сказал он по-немецки, и патрульный отодвинул доску. Этот мужчина был обрусевшим немцем, он проводил в Бабий Яр свою жену, сына и мать жены.

Михасева вышла следом за ним. Со стороны Бабьего Яра слышался лай многих десятков собак, треск автоматов и крики казнимых. Навстречу двигалась толпа. Вся мостовая была запружена людьми. Гремели радиорупоры — танцевальными мелодиями заглушались крики гибнущих жертв.

Приводим рассказы чудом спасшихся. Неся Эльгорт, проживавшая по улице Саксаганского №40, шла к обрыву, прижимая к голому телу дрожавшего сына

Илюшу. Все близкие и родные ее затерялись в толпе. С сыном на руках она подошла к самому краю обрыва. В полубеспамятстве она услышала стрельбу, предсмертные крики и упала. Но пули миновали ее. На ее спине и на голове лежали еще горячие, окровавленные ноги, руки. Вокруг грудой, друг на друге лежали сотни и тысячи убитых. Старики — на детях, детские тельца — на мертвых матерях.

”Мне сейчас трудно осознать, каким образом я выбралась из этого оврага смерти, — вспоминает Неся Эльгорт, — но я выползла, очевидно, инстинкт самосохранения гнал меня. Вечером я очутилась на Подоле, возле меня был мой сын Илюша. Поистине, не могу понять, каким чудом спасся сын. Он как бы сросся со мной и не отрывался от меня ни на секунду.

Русская женщина Марья Григорьевна (фамилии ее я не помню), жительница Подола, приютила меня на одну ночь и утром помогла мне пройти на улицу Саксаганского”.

Вот другой рассказ женщины, спасшейся из Бабьего Яра.

Елена Ефимовна Бородянская-Кныш с ребенком пришла к Бабьему Яру, когда было уже совершенно темно. Ребенка она несла на руках. ”По дороге к нам присоединили еще человек 150, даже больше. Никогда не забуду одну девочку лет пятнадцати — Сарру. Трудно описать красоту этой девочки. Мать рвала волосы на себе, кричала душераздирающим голосом: ”Убейте нас вместе...” Мать убили прикладом, с девочкой не торопились, пять или шесть немцев раздели ее догола, что было дальше не знаю, не видела.

С нас сняли верхнюю одежду, забрали все вещи и, отведя вперед метров на 50, забрали документы, деньги, кольца, серьги. У одного старика начали вынимать золотые зубы. Он сопротивлялся. Тогда немец

схватил его за бороду и бросил на землю, ключья бороды остались в руках у немца. Кровь залила старика. Мой ребенок при виде этого заплакал:

— Не веди меня туда, мама, нас убьют; видишь дедушку убивают.

— Доченька, не кричи, если ты будешь кричать, мы не сможем убежать и нас немцы убьют, — упрасивала я ребенка.

Она была терпеливым ребенком, — шла молча и вся дрожала. Ей было тогда четыре года. Всех раздевали догола. Но так как на мне было старенькое белье, меня оставили в белье.

Около 12 часов ночи раздалась немецкая команда, чтобы мы строились. Я не ждала следующей команды, а тотчас бросила в ров девочку и сама упала на нее. Секунду спустя на меня стали падать трупы, затем стало тихо. Прошло минут пятнадцать — привели другую партию. Снова раздалась выстрелы, и в яму снова стали падать окровавленные, умирающие и мертвые люди.

Я почувствовала, что моя дочь уже не шевелится. Я привалилась к ней, прикрыла ее своим телом и, сжав руки в кулаки положила их ребенку под подбородок, чтобы девочка не задохнулась. Моя дочь зашевелилась. Я старалась приподняться, чтобы ее не задавить. Вокруг было очень много крови. Расстрел ведь шел с 9 часов утра. Трупы лежали надо мной и подо мной.

Слышу, кто-то ходит по трупам и ругается по-немецки. Немецкий солдат штыком проверял, не остались ли живые. И вышло так, что немец стоял на мне и поэтому меня миновал удар штыком.

Когда он ушел, я подняла голову. Вдали слышен был шум. Это немцы ругались из-за вещей — шел дележ.

Я высвободилась, поднялась, взяла на руки дочь —

она была без сознания. Я пошла яром. Отойдя на километр, почувствовала — дочь едва дышит. Воды нигде не было. Я смочила ей рот своей слюной. Прошла еще километр, стала собирать росу с травы и увлажнять ею ребенка рот. Понемногу девочка стала приходить в себя.

Я отдохнула и пошла дальше. Переползая по ярам, я дошла до поселка Бабий Яр. Вышла во двор кирпичного завода, забралась в подвал. Четверо суток просидела я там без еды, без одежды. Только ночью я выходила во двор, чтобы покопаться в мусорном ящике.

И я, и ребенок стали опухать. Что творилось кругом — я уже не знала. Где-то стреляли пулеметы, На пятые сутки ночью я забралась на чердак одного дома, нашла там сильно поношенную вязаную юбку и две старые блузки. Одну блузку надела на ребенка вместо платья. Я пошла к своей знакомой Литошенко. Она обмерла, увидев меня. Она дала мне юбку, платье и спрятала меня и ребенка. Я больше недели была у нее под замком. Она дала мне денег на дорогу, и я пошла к другой знакомой — Фене Плюйко.

ИЗ ДНЕВНИКА САРРЫ ГЛЕЙХ

(Мариуполь, Украина)

Гестапо наклеило на всех еврейских квартирах специально отпечатанные бумажки: запрещен вход всем посторонним — поэтому также нужно проникнуть в квартиру тайно.

Знакомые и друзья приносят всем передачи, многие получили разрешение взять из дому еще вещи, народ все прибывает и прибывает.

Полиция разрешила общине организовать приготовление горячей пищи.

Разрешили приобрести лошадей и подводы. Распоряжение: на всех мешках и узлах ясно написать на русском и немецком языках фамилию; один из членов семьи будет ехать с вещами, остальные пойдут пешком.

Владе здесь надоело, он просится домой. Папа, Шварц, отчим Нюси Карпиловской сложились и купили лошадь и линейку. Выходить за ворота нам не разрешают, покупку сделал Федя Белоусов. Нюсе удалось проскользнуть за ворота, и она вернулась обратно расстроенная, считает, что мы не должны были сюда идти, много народа осталось в городе, говорит, что даже встречала их на улице.

Завтра в семь часов утра мы должны оставить наше последнее пристанище в городе.

20 октября. Всю ночь шел дождь, утро хмурое, сырое, но не холодное.

Община в полном составе выехала в семь часов утра, затем потянулись машины со стариками, машины с женщинами, с детьми. Идти нужно 9 — 10 км, дорога ужасная. Судя по тому, как немцы обращаются с теми, кто пришел с нами проститься и принес передачу, будущее не сулит ничего хорошего. Немцы избивают всех проходящих дубинками и отгоняют от здания на квартал. Стал вопрос о том, чтобы мама, папа и Фаня с Владей сели в машину.

Мама и папа уехали в 9 часов утра. Фаня с Владей задержались, поедут следующей машиной. У машины распорядители: В.Осовец и Рейзинс. Во дворе все меньше и меньше людей, остаются только те, которые, по разъяснению немцев, будут следовать за вещами. К нам подошли Шмуклер, Вайнер, Р. и Л. Колдобские. Я высказала опасение за жизнь стариков, так как носят нехорошие слухи: говорят, что машины идут под откос. Кто-то высказал предположение, что нас увезут за город и уничтожат.

Вайнер выглядит ужасно: оказывается, его только вчера выпустили из гестапо. Несколько немцев вошли во двор и дубинками стали выгонять на улицу, из здания слышны крики избиваемых. Я и Бася вышли. Фаня с Владей были у машины. В.Осовец помог ей сесть, и она уехала. Мы шли пешком, дорога ужасная, после дождя размыло, идти невозможно, трудно поднять ногу, если остановиться, получаешь удар дубинкой, избивают, не разбирая возраста.

И.Райхельсон шел со мной рядом, потом куда-то исчез. Здесь же возле нас шли Шмерок, Ф.Гуревич с отцом, Д.Полунова. Было часа два, когда мы подошли к агробазе им. Петровского. Людей здесь много. Я кинулась искать Фаню и стариков. Фаня меня окликнула, стариков она искала до моего прихода и не нашла, они,

наверное, уже в сарае, куда уводят партиями по 40 – 50 человек.

Владя голоден, – хорошо, что я захватила с собой в кармане пальто яблоки и сухари. Владику это хватит на день, больше у нас все равно ничего нет, но взять съестное с собой нельзя было: немцы при выходе все отбирали, даже продукты.

Дошла очередь и до нас, и вся картина ужаса бессмысленной, до дикого бессмысленной и безропотной смерти предстала перед нашими глазами, когда мы направились за сараи. Здесь уже где-то лежат трупы папы и мамы. Отправив их машиной, я сократила им жизнь на несколько часов. Нас гнали к траншеям, которые были вырыты для обороны города. В этих траншеях нашли себе смерть 9000 человек еврейского населения, больше ни для чего они не понадобились. Нам велели раздеться до сорочки, потом искали деньги и документы. Гнали по краю траншеи, но края уже не было: на расстоянии в полкилометра траншеи были наполнены людьми, умиравшими от ран и просившими еще об одной пуле, если одной было мало для смерти. Мы шли по трупам. В каждой седой женщине мне казалось, что вижу маму. Я бросалась к трупам, за мной Бася, но удары дубинок возвращали нас на место. Один раз мне показалось, что старик с обнаженным мозгом – это папа, но подойти поближе не удалось. Мы начали прощаться, успели все поцеловаться. Вспомнили Дору. Фаня не верила, что это – конец: "Неужели я никогда не увижу солнца и света", – говорила она. Лицо у нее сине-серое, а Владя все спрашивал: "Мы будем купаться? Зачем мы разделись? Идем домой, мама, здесь нехорошо". Фаня взяла его на руки, ему было трудно идти по скользкой глине; Бася не переставала ломать руки и шептать: "Владя, Владя, тебя-то за что? Никто даже не узнает, что с нами сде-

лали”. Фаня обернулась и ответила: ”С ним я умираю спокойно, знаю, что не оставлю сироту”. Это были последние слова Фани. Больше я не могла выдержать, я схватилась за голову и начала кричать каким-то диким криком, мне кажется, что Фаня еще успела обернуться и сказать: ”Тише, Сарра, тише”, и на этом все обрывается.

Когда я пришла в себя, были уже сумерки. Трупы, лежавшие на мне, вздрагивали, это немцы, уходя, стреляли на всякий случай, чтобы раненые ночью не смогли уйти, так я поняла из разговора немцев. Они опасались, что есть много недобитых, – они не ошиблись, таких было очень много. Они были заживо погребены, потому что помощи им никто не мог оказать, а они кричали и молили о помощи. Где-то под трупами плакали дети, большинство из них, особенно малыши, которых матери несли на руках (а стреляли нам в спину), падали, прикрытые телами матерей, невредимы и были засыпаны и погребены под трупами заживо.

Я начала выбираться из-под трупов, (я сорвала ногти с пальцев ноги, но узнала об этом только тогда, когда попала к Рояновым 24 октября) выбралась наверх и оглянулась – раненые копошились, стонали, пытались встать и снова падали. Я стала звать Фаню в надежде, что она меня услышит, рядом мужчина велел мне замолчать, это был Гродзинский – у него убили мать, он боялся, что я своими криками привлеку внимание немцев.

КАК ПОГИБЛА ЖЕНЩИНА - ВРАЧ ЛАНГМАН

(Сорочицы)

В Сорочицах проживала врач-гинеколог Любовь Михайловна Лангман. Она пользовалась любовью населения, и крестьянки долго скрывали ее от немцев. С ней пряталась ее дочь одиннадцати лет.

Когда Лангман находилась в Селе Михайлики, к ней пришла повитуха и рассказала, что у жены старосты трудные роды. Лангман объяснила повитухе, что нужно делать, но положение роженицы с каждым часом ухудшалось. Верная своему долгу, Лангман направилась в избу старосты, спасла мать и ребенка. После этого староста сообщил немцам, что в его хате находится еврейка. Немцы повели женщину и девочку на расстрел. Сначала Лангман просила: "Ребенка не убивайте", но потом прижала дочь к себе и сказала: "Стреляйте! Не хочу, чтобы она жила вместе с вами!". Мать и дочь были убиты.

УБИЙСТВО ЕВРЕЕВ В БЕРДИЧЕВЕ

— Прощайте! — отвечали те, что стояли над ямой.

Страшные вопли оглашали воздух: выкрикивались родные имена, раздавались последние напутствия.

Старики громко молились, не теряя веру в Б-га даже в эти страшные часы, отмеченные властью дьявола. В этот день, 15 сентября 1941 года, на поле, вблизи бердичевского аэродрома, были убиты двенадцать тысяч человек. Подавляющее большинство убитых — это женщины, девушки, дети, старухи и старики.

Все пять ям были полны до краев, — пришлось навалить поверх холмы земли, чтобы прикрыть тела. Земля шевелилась, судорожно дышала. Ночью многие из недобитых выползли из-под могильных холмов. Свежий воздух проник через разворошенную землю в верхние слои лежавших и придал силы тем, кто был только ранен, в ком сердце еще продолжалось биться, вернул сознание лежащим в беспамятстве. Они расползлись по полю, инстинктивно старясь отползти подальше от ям; большинство из них, теряя силы, истекая кровью, умирало тут же на поле, в нескольких десятках саженей от места казни.

Крестьяне, ехавшие на рассвете из Романовки в город, увидели: все поле покрыто мертвыми. Утром немцы и полиция убрали тела, добились тех, кто еще дышал и вновь закопали их.

Трижды за короткое время земля на могилами

раскрывалась, вздымаемая изнутри, и кровавая жидкость выступала через каря ям, разливалась по полю. Трижды сгоняли немцы крестьян, заставляли их наваливать новые холмы над огромными могилами.

Есть сведения о двух детях, стоявших на краю этих раскрытых могил и чудом спасшихся.

Один из них — десятилетний сын инженера Нужного Гарик. Отец его, мать и младшая сестра были казнены. Когда Гарик вместе с матерью и сестренкой подошел к краю ямы, мать, желая спасти сына, закричала:

— Этот мальчик — русский, он сын моей соседки, он русский, русский!

Голоса других обреченных поддержали ее:

— Он русский, он русский! — кричали они.

Эсэсовец оттолкнул мальчика. До темноты он пролежал в кустах у дороги, а затем пошел в город на Белопольскую улицу, в дом, где он прожил свою маленькую жизнь.

Он вошел в квартиру Николая Васильевича Немоловского, товарища отца, и, едва увидев знакомые лица, упал в припадке, захлебываясь слезами.

Он рассказал, как были убиты его отец, мать, сестра, как мать и незнакомые люди, из которых уже никого нет в живых, спасли его. Всю ночь рыдал он, вскакивая с постели, порываясь вернуться к месту казни.

Десять дней скрывали его Немоловские. На десятый день Немоловский узнал, что среди 400 ремесленников и мастеров-специалистов оставлен в живых брат инженер Нужного. Он пошел в фотографию, где работал Нужный, и сообщил, что племянник его жив.

Нужный ночью пришел повидаться с мальчиком. Когда Немоловский описывал пишущему эти строки встречу Нужного, потерявшего всю свою семью, с племянником, он разрыдался и сказал: "Это нельзя рассказать".

Через несколько дней Нужный пришел за племянником, забрал его к себе. Судьба обоих была трагична — при следующем расстреле были казнены и дядя, и племянник.

Вторым, ушедшим от места расстрела, был десятилетний Хаим Ройтман. На его глазах были убиты отец, мать и младший братик Боря. Когда немец поднял автомат, Хаим, стоя на краю ямы, сказал ему: "Смотрите, часики!" и указал на блестящее неподалеку стеклышко. Немец наклонился, чтобы поднять часы, мальчик бросился бежать. Пули немецкого автомата продырявили ему картузик, но мальчик не был ранен, — он бежал до тех пор, пока не упал без памяти. Его спас, спрятал и усыновил Герасим Прокофьевич Остапчук. Таким образом, пожалуй, он единственный из тех, кто был приведен на расстрел 15 сентября 1941 года, но сохранился в живых до прихода Красной Армии.

После этого массового расстрела евреи, бежавшие из города в деревни, и жители окрестных местечек, где происходило в это время поголовное избиение еврейского населения, пришли спасаться в опустевшее гетто. Кто-то убеждал их, что здесь, на специально отведенных для евреев улицах, они избегнут смерти. Но вскоре снова сюда пришли немцы и полицейские, и начались новые кровавые бесчинства.

Маленьким детям разбивали головы о камни мостовой, женщинам отрезали груди. Свидетелем этого избиения был пятнадцатилетний Лева Мильмейстер; он бежал от места расстрела, раненный в ногу немецкой пулей.

В двадцатых числах октября 1941 года начались облавы на тех, кто тайно проживал в запретных для евреев районах города. В этих облавах участвовали не только немцы, но и полицеские, им помогали добровольцы-черносотенцы. К 3 ноября в древний мона-

стырь монашеского ордена босых кармелитов, стоящий над обрывистым берегом реки и окруженный высокой и толстой крепостной стеной, были согнаны 2000 человек. Сюда же были приведены и те 400 человек специалистов со своими семьями, которых Редер и Каролюк отобрали во время расстрела 15 сентября 1941 года. 3 ноября согнанным в монастырь людям было предложено сложить на пол, на специально очерченный круг, все имеющиеся у них при себе драгоценности и деньги. Немецкий офицер объявил, что утаивших ценности не расстреляют, а они будут заживо закопаны в землю.

После этого стали выводить партиями по 159 человек на расстрел. Людей строили парами и грузили на машины. Сперва были выведены мужчины, около 800 человек, затем женщины и дети. Некоторые заключенные в монастырь, после страшных избиений, мучений, голода и жажды, после четырех месяцев немецкого палачества, после потери близких, были настолько душевно убиты, что шли на смерть, как на избавление. Люди становились в смертный черед, не стараясь еще на лишний час или два отсрочить миг смерти.

В докладной записке юриста И.М.Леензона, побывавшего в Одессе в мае 1944 года, сказано, что количество истребленных евреев в городе Одессе составляет около 100 тысяч человек.

Лев Рожецкий, ученик 7-го класса 47-й одесской школы, сочинил очерки, песни и стихи, в большинстве случаев в уме, но кое-что записывал на клочках бумаги, на дощечках, на фанере. "Конечно, это грозило мне смертью, но я написал две антифашистские песни "Раскинулось небо высоко" и "Нина" (памяти женщины, сошедшей с ума). Иногда мне удавалось читать свои стихи моим товарищам по несчастью. Как мне бы-

ло отрадно, когда сквозь стоны и слезы люди пели мои песни, читали стихи”.

Рожецкий рассказывает, как его избили до полу-смерти за то, что нашли у него стихи Пушкина. ”Хотели убить, но не убили”.

Юноша, почти мальчик, он побывал во многих лагерях смерти и подробно описал их. По его очеркам мы ясно представляем себе весь этот ад — цепь лагерей от Черного моря до Буга: Сортировочная, Березовка, Сиротское, Доманевка и Богдановка. ”Я хочу, — пишет Рожецкий, — чтобы с особой ясностью запечатлелась каждая буква этих названий. Эти названия нельзя забыть. Здесь были лагеря смерти. Здесь уничтожались фашистами невинные люди только за то, что они евреи”.

Число убитых в Домневке евреев дошло до 15 тысяч, в Богдановке было убито 54 тысячи евреев. Акт об этом составлен 27 марта 1944 года представителями Красной Армии, властей и населения.

”11 января 1942 года маму, меня и маленького брата Анатолия, только что вставшего после тифа, выгнали на Слободку. В три часа ночи нас позвали.

Был жестокий мороз, снег по колено. Много стариков и детей погибло еще в самом городе, на окраине его, на Пересыпи под завывание пурги. Немцы хохотали и снимали нас фотоаппаратом. Кто мог — дошел до станции Сортировочная. На пути дамба была взорвана. Образовалась целая река. Вымокшие люди замерзали.

На станции Сортировочная стоит состав. Никогда не забуду картины: по всему перрону валялись подушки, одеяла, пальто, валенки, кастрюли и другие вещи.

Замерзшие старики не могут подняться и стонут тихо и жалобно. Матери теряют детей, дети — матерей, крики, вопли, выстрелы. Мать заламывает руки, рвет

на себе волосы: "Доченька, где ты?" Ребенок мечется по перрону, кричит: "Мама!"

В Березовке со скрипом растворяются двери вагона, и нас ослепляет зарево огня, пламя костров. Я вижу, как объятые пламенем мечутся люди. Резкий запах бензина. Это жгут живых людей.

Это душегубство совершалось у станции Березовка.

Внезапно — сильный толчок, и поезд медленно движется дальше, все дальше от костров. Нас погнали умирать в другое место".

О Доманевке Рожецкий говорит, что она занимает среди лагерей смерти "почетное место". Он описывает ее подробно.

"Доманевка — кровавое, черное слово. Доманевка — центр смертей и убийства. Сюда пригнали на смерть тысячные партии. Этапы следовали один за другим, непрерывно. Из Одессы нас вышло три тысячи человек, а в Доманевку дошла маленькая кучка. Доманевка — районный центр, небольшое местечко. Вокруг тянутся холмистые поля. Вот лесок, красивый, небольшой лесок. На кустарниках, на ветках до сих пор висят лохмотья, клочки одежды. Здесь под каждым деревом могила... Видны скелеты людей".

На середине Доманевки находились две полуразрушенные конюшни под название "Горки". Даже в Доманевское гетто это было самое страшное место. Из барачков не выпускали, грязь по колено, тут же скапливались нечистоты. Трупы лежали, как в морге. Тиф. Дизентерия. Гангрена. Смерть.

"Из трупов постепенно образовывались такие горы, что страшно было смотреть. Лежат в разнообразных позах старики, женщины. Мертвая мать сжимала в объятиях мертвого ребенка. Ветер шевелил седые бороды стариков.

Сейчас я думаю: как я тогда не сошел с ума? Днем

и ночью сюда со всех сторон сбегались собаки. Доманевские псы разжирели, как бараны. Днем и ночью они пожирали человеческое мясо, грызли человеческие кости. Смрад стоял невыносимый. Один из полицейских, лаская пса, говорил: "Ну что. Полкан, наелся жидами?"

В 25 километрах от Доманевки на берегу Буга расположена Богдановка. Аллеи прекрасного парка ведут здесь ко рву, яме, где нашли себе могилу десятки тысяч человек.

"Смертников раздевали донага, потом подводили к яме и ставили на колени, лицом к Бугу. Стреляли только разрывными пулями, прямо в затылок. Трупы сбрасывались вниз. На глазах мужа убивали жену. Потом убивали его самого".

Свиносовхоз "Ставки" стоял, по выражению Рожецкого, "как остров в степной пустыне". Те, которые уцелели в "Горках", нашли свою гибель в "Ставках".

Здесь загнали людей в свиные закуты и держали в этих грязных клетках до тех пор, пока милосердная смерть не избавляла их от страданий.

"Лагерь был окружен канавой. Того, кто осмеливался переходить ее, расстреливали на месте. За водой разрешали ходить по десять человек. Однажды, увидев, что "порядок" нарушен, полиция выстрелила в одиннадцатого. Это была девушка. "Ой, маменька, убили", — закричала она. Полицейский подошел и прикончил ее штыком".

Тех, кому удалось выжить, посылали на самые тяжелые и мучительные работы.

"Помню, как мы подъезжали к баракам. Я вел лошадь под узду, мама толкала телегу сзади. Мы убивали трупы за ноги и за руки, заваливали их на телегу, и, наполнив ее до краев, везли свой груз к яме и сбрасывали вниз".

Елизавета Пикармер рассказывает:

”Я со своей соседкой по дому и ее ребенком очутились у ямы первыми, несмотря на то, что в толпе мы стояли сотыми. Но в последнюю минуту появился румынский верхвой с бумажкой в руках и подскочил к конвоирам. И пленных повели дальше, на новые муки. На другой день всех нас бросили в реку. Отдав нашим мучителям последние вещи, мы купили себе право выйти из воды. Многие потом умерли от воспаления легких.

В Доманевке румыны раздирали надвое детей, ухвативши за ноги, били о камень. У женщин отрезали груди. Заживо закапывали целые семьи или сжигали на кострах.

Старику Фурману и 18-летней девушке Соне Кац было предложено танцевать, и за это им было обещано продлить жизнь. Но их жизнь длилась недолго, через часа два их повесили.

Обреченные на смерть люди двигались как автоматы, теряли рассудок, бредили, галлюционировали.

Коменданты села Гуляевки — Лупеску и Плутонер Санду — еженощно посылали своих денщиков в лагерь за красивыми девушками. Утром они с особым наслаждением наблюдали их предсмертные муки.

Сыпнотифозные валялись без присмотра. Смерть косила людей сотнями и трудно было отличить живого от мертвого и здорового от больного”.

Таня Рекочинская пишет брату в действующую армию: ”Меня с моим мужем и двумя детьми в лютую, морозную зиму выгнали из квартиры и отправили этапом за 180 километров от Одессы, к Бугу. Грудной ребенок, девочка, в дороге умерла. Мальчика вместе с другими детьми этапа расстреляли. Мне досталась участь пережить все это”.

И этих ужасов еще недостаточно. В бредовое суще-

ствование лагеря смерти, в безмолвие, нарушаемое стонами и хрипами умирающих, врывается тревожный крик: "Село оцеплено. Приехали румыны и немцы-колонисты из села Картакаева с пулеметами".

Появляются полицейские верхом на лошадях и сгоняют всех евреев в один сарай, а оттуда к смертным окопам. Некоторые решают умереть гордо, не унижая себя мольбами о пощаде, не показывая палачам страха смерти. Другие хотят умереть сами. Бегут и бросаются в лиман. Мужчины успокаивают женщин, женщины — детей. Кое-кто из самых маленьких смеется. И это детский смех кажется странным в обстановке кровавого побоища.

— Мамочка, куда это нас ведут? — раздается звонкий голосок шестилетней девочки.

— Это нас, детка, переводят на новую квартиру, — успокаивает ее мать... Да, квартира эта глубокая и сырая. И никогда из окон этой квартиры не увидит ее дочка ни солнца, ни голубого неба.

Но вот и окопы. Вся процедура человекоубийства производится с немецкой аккуратностью и точностью. Немцы и румыны, как хирурги перед операцией, надевают белые халаты и засучивают рукава. Смертников выстраивают у окопов, раздев их сначала донага. Люди стоят перед своими мучителями трепещущие, нагие и ждут смерти.

На детей не тратят свинца. Им разбивают головки о столбы и деревья, кидают живыми в разведенные для этого костры. Матерей отталкивают и убивают не сразу, давая раньше истечь кровью их бедным сердцам при виде смерти малюток".

Особой жестокостью отличалась одна немка-колонистка, раскулаченная жительница села Картакаева. "Она как бы пьянела от собственной жестокости и с дикими криками разбивала детские головки при-

кладами с такой силой, что мозги разбрызгивались на большое расстояние”.

ИЗ ПИСЬМА РАХИЛЬ ФЛАУЛЕ-МИЛЬНЕР

(Черновицы)

13 сентября в два часа дня подъехала машина: полицмейстер Гениг, "Крошка" и его помощник – украинец, которого звали "Вилли". Они объявили, что 14 сентября все дети и нетрудоспособные будут направлены в другой лагерь, чтобы "не мешать работать". Они составили списки больных, стариков и детей. Остальных осматривали, как лошадей. Кто недобро шел или чем-либо не понравился, попадал в черный список. Мы поняли все. Муж схватил Шуру, зажал ему рот и перелез через проволоку. В дом его не пустили, но оставили в огороде.

Ночь с 13 на 14 сентября. Большое двухэтажное здание синагоги. Света на было. У некоторых нашлись огарки, зажгли их. Каждая мать держит на руках ребенка и прощается с ним. Все понимают, что это – смерть, но не хотят верить. Старый раввин из Польши читает молитву "О детях", старики и старухи ему помогают. Раздирающие душу крики, вопли, некоторые дети постарше стараются утешить родителей. Картина такая страшная, что наши грубые сторожа и те молчат.

14 сентября. Людей подняли до рассвета, погнали на работу, чтобы они не мешали... Я тоже пошла. Я не знала, что с мужем и ребенком – живы ли они, или попали в лапы убийц.

Некоторые матери пошли на работу с детьми, не-

которые старухи принарядились и тоже пошли на работу, пытаясь уйти от смерти.

Эсэсовцы тщательно осматривали ряды, извлекали всех детей. Шесть матерей пошли на смерть со своими детьми. Они хотели облегчить детям последние минуты. Сура Кац из Черновиц (муж ее был на фронте) пошла на смерть с шестью мальчиками. Вайнер пошла с больной девочкой. Легер, молодая женщина из Липкан, молила палачей, чтобы ей разрешили умереть с ее двенадцатилетней дочкой, красавицей Тамарой.

Когда мы шли на работу, мы встретили машины со стариками и детьми из лагерей Чуков и Вороновицы. Мы видели издали, как машины останавливались, как стреляли. Потом палачи рассказывали, что заставляли обреченных раздеваться догола, грудных детей бросали живыми в могилы. Матерей заставляли смотреть, как убивали их детей.

В лагере Чуков находился наш приятель из Единиц адвокат Давид Лернер с женой и шестилетней девочкой, а также родителями жены — Аксельрод. Когда в сентябре убивали детей, им удалось спрятать девочку в мешок. Девочка была умная и тихая, и она была спасена. В течение трех недель отец носил девочку с собой на работу и ребенок все время жил в мешке. Через три недели наш зверь "Крошка" приехал забирать хорошие вещи. Он подошел к мешку и ударил его ногой. Девочка вскрикнула от боли и была раскрыта. Дикая злоба овладела палачем, он бил отца, бил ребенка и забрал у них все вещи, оставив всю семью почти без одежды. Все-таки девочку он не убил, она осталась в лагере и всю зиму прожила в смертном страхе, ожидая каждый день смерти. 5 февраля при второй "акции" девочка была взята вместе с бабушкой. Безумный страх овладел ребенком, она так кричала всю дорогу, что детское сердечко не выдержало и обор-

валось. Бабушка принесла ребенка к роковой яме уже мертвым. Мать, узнав об этом, сошла с ума, ее расстреляли, вскоре убили отца, так погибла вся семья.

Когда вечером мы вернулись в лагерь, было тихо и пусто, как на кладбище. Вскоре приехал полицмейстер и вызвал меня. Он спросил, где я была и где мой ребенок. Я ответила, что была на работе, а где мой ребенок — это он знает лучше меня. Он ничего не сказал, уехал.

Ночью вернулся муж. Он оставил ребенка у одной украинки Анны Рудой, и та обещала найти ему пристанище. Мы успели кинуть ей все наши вещи через ограду, и ребенок был на время обеспечен. На другой день явился "Крошка", обыскал погреб, чердак — повсюду искал моего мальчика. "Твоего блондинчика не было на машине, — сказал он мне. — Я хорошо знаю твоего мальчика". Он его заметил, когда была перекличка.

Анна Рудая передала моего ребенка Поле Медвецо, которой я навеки обязана. Шесть месяцев она его берегла, как зеницу ока... Он называл ее мамой и очень любил.

21 сентября нас перевели в село Бугаков. Там был другой немецкий комендант, но он подчинялся немировским властям: "Генигу, "Крошке" и "Вилли". Меня назначили медицинским работником для трех еврейских лагерей: Бугаков, Заруденцы и Березовка. Трудно рассказать, что испытывали люди в этих лагерях. Немцы мне говорили: "Лечи их кнутом". Немногие старые люди, ускользнувшие от расстрела, не выдержали и свалились. Их палками гнали на работу. Старика Аксельрода из Буковины в субботу палками погнали на работу. В воскресенье он умер. У старой Брунвассер была закупорка вен на обеих ногах. Ее тащили за волосы, сбросили с лестницы, два дня спус-

тя она умерла. Вскоре умерли все остальные. Заболели молодые. Пришла зима. Мы спали на морозной земле. Ели впроголодь. Начались эпидемии. Теплых вещей не было, а стояли сильные морозы. Били. Больше всех над нами издевался старший надсмотрщик Майндл, особенно он терзал моего мужа, которого он называл "проклятым инженером".

Ребенка я все время не видела и с ума сходила от мысли, что, может быть, немцы его нашли. В начале января мне удалось тайно пробраться к нему. Когда я подошла к калитке, сердце так билось, будто выскочит. Я оглядывалась, чтобы меня не заметили. Дверь открыла Медвецкая и крикнула: "Шура, посмотри, кто пришел?!" Но Шура меня не признал, был тихий и грустный, прятался за Полю. Только когда я взяла его на руки и сняла с себя платки, он начал все вспоминать. Медвецкая мне рассказала, что он не выходит из комнаты, даже двора не видит. Его научили, что он племянник из Киева и зовут его Александр Бакаленко. Когда входили чужие, он прятался. Когда я уходила, Шурик дал яблоко: "Для папы". Он спросил меня, правда ли, что всех детей убили, и назвал своих товарищей по именам. Я горячо поблагодарила Медвецкую и ушла.

ПИСЬМО СЮНИ ДЕРЕШ

(Изяславль)

14. IV. 44 г.

Здравствуй дядя Миша!

Пишу из родного города Изяславля, который вы бы не узнали. От нашего местечка осталась жалкая половина. Но зачем оно совсем осталось? Лучше бы его не было, не было бы всего, лучше бы я на свет не родился. Теперь я уже не тот Сюнька, которого вы знали. Я сам не знаю, кто я теперь. Все кажется сном, кошмарным сном. В Изяславле я и Фельдман Кива, наш сосед — больше никого не осталось от восьми тысяч людей. Нет моей дорогой мамы, папы, нет милого брата Зямы, Изы, Сары, Боруха... Все милые, дорогие люди, как тяжело вам пришлось!... Я не могу прийти в себя, не могу писать. Если бы я начал рассказывать, что я пережил, — не знаю, поняли бы вы это. Я три раза удирал из концентрационного лагеря, не раз видел смерть в глаза, шагая в рядах партизан. Лишь пуля фрица вывела меня из строя. Но я уже здоров — нога зажила, и я буду искать врага, чтобы отомстить за все. Я хотел бы повидаться с вами хотя бы на пять минут. Не знаю, удастся ли... Пока сижу еще дома, хотя от этого дома остались одни развалины, но называется "дома". Получил письмо от Тани. Очень обрадовался, что есть еще близкие...

Жду ответа на мое письмо. Милые, дорогие, как бы поскорей увидеться... Дядя Миша, помни, что

это наш злейший враг — фашистский людоед. Какой ужасной смертью погибли все наши! Бей его до конца, режь по кускам! Никогда не попадайся к нему в руки. Письмо вышло бессвязное, как бессвязна и никчемна моя жизнь.

Но все-таки я еще жив... Для мщения над врагом. До свидания, дядя Миша. До скорой, желанной встречи! Привет всем, всем, всем! Я как будто вернулся с того света.

Теперь начинаю новую жизнь — жизнь сироты.

Как? Я сам не знаю, как.

Пишите, почаще, ожидаю ответа. Почему не пишут дядя Шлема, Иосиф с Гитой и т.д.? С приветом, ваш племянник Сюня Дереш.

Мой адрес тот же. В общем, я получу, куда не напишите, потому что, кроме меня, здесь никого нет.

В МЕСТЕЧКЕ ЯЛТУШКОВО

Сообщение Героя Советского Союза
младшего лейтенанта Кравцова

Я расспрашивал соседей, уцелевших чудом, и узнал всю правду. Их долго мучили. Гетто устроили возле базара, огородили высокой стеной из колючей проволоки. Люди там голодали.

20 августа 1942 года всех погнали на станцию. Идти пришлось четыре километра, гнали прикладами детей и дряхлых стариков, приказали всем раздеться...

Я видел клочья одежды и белья. Немцы экономили пули, клали людей в четыре ряда, а потом стреляли, засыпали живых. Маленьких детей перед тем, как бросить в яму, разрывали на куски. Там они убили и мою крохотную Нюсеньку. Других детей, и среди них мою девочку, столкнули в яму и засыпали землей.

Два месяца спустя мою жену, Маню, в числе других увезли в село Якушинцы. В Якушинцах был концлагерь. Там над ними издевались, а потом всех убили.

Две могилы рядом. В них полторы тысячи человек. Взрослые, старики, дети.

Мне осталось одно: месть.

ПИСЬМА СИРОТ (Ботошаны)

Дорогой товарищ Эренбург!

Я, Дина Лейбл, родилась в деревне Брегомет у реки Серет, в районе Черновиц. Мне 16 лет.

В 1941 году, когда немцы заняли Северную Буковину, нас угнали на Украину, в лагерь Красное Винницкой области. В 1942 году немцы убили моих родителей. Из большой семьи я осталась одна.

Я удрала в Румынию. Живу у хозяина. Он немного меня кормит. Я Вас прошу: возьмите меня обратно в Россию. Я хочу учиться и стать человеком. Ведь я зря теряю свою молодость, а в Советской России я буду работать.

Дина Лейбл

В 1941 году, когда немцы заняли местечко Калиновка Винницкой области, они погнали всех евреев на работу. Они нас мучили и били нагайками, они нам давали листья с деревьев и траву. Трех евреев запрягли в повозку, они должны были на себе тащить немцев. У них не было сил, их убили. В 1942 году нас загнали в гетто. Мы не могли оттуда выйти. Там многие умерли от голода. Потом выгнали на стадион. Молодых убили, а стариков и детей погнали в лес. Нас там окружили цепью, кричали "юде", начали убивать. Детей кидали в яму. Я убежал. За мной погнался немец. Я влез на де-

рево. Он меня не заметил. Я видел, как убивали всех евреев, и три дня шумела кровь в земле. Мне было тогда 10 лет, а теперь 12..

Нюня Докторович

В 1941 году, когда началась война, они пришли в Могилев-Подольский и погнали всех евреев в лагерь Печера Тульчинского района. Они издевались над нами, и моих родителей они застрелили. Нас погнали на работу. Девочки добывали торф руками. Мы работали с четырех часов утра до поздней ночи. Однажды мы услышали: они говорили, что кончится летний сезон и всех "юдов" убьют. Мы бежали куда глаза глядят. За нами гнались и многих убили. Меня спас один украинец, он взял меня к себе и спрятал. Его сосед рассказал немцам, что "во дворе жидовка". Немец пришел, чтобы меня застрелить, но украинец начал с ним драться, а я убежала и попала на румынскую территорию.

Роза Линдвор, 15 лет

9 июля 1941 года к нам в деревню Бричаны пришли немцы. Нас выслали на Украину, в лагерь Ямполь. Немцы никого не пускали к речке напиться, а всех очень мучила жажда. Затем нас погнали обратно в Бесарабию, в лагерь Сухарки, Оттуда всех опять отправили на Украину, в лагерь Копайгород. Отец и мать там умерли. Я с сестричкой остались сиротами. Мне всего 12 лет, но я столько пережила, что не могу описать. Спасибо Красной Армии за освобождение народа.

Рахиль Розенберг

Я родилась в маленьком местечке Багила на Серете.

Мне теперь 15 лет. Я еще не видела хорошего. У нас забрали все и погнали в лагерь Единицы. Я страдала и перед глазами видела смерть. Потом нас послали на красивую Украину, и она была для нас темной. Там в один день умерли мои любимые родители. Нас осталось пять сирот. Далеко от смерти я не была. Теперь я с сестренками в городе Ботошаны. А что потеряли, больше не вернется.

Эня Вальцер

Я из города Липканы в Бессарабии. После того, как в 1940 году пришла наша Красная Армия, мы начали жить хорошо.

Я училась в школе, была отличница. Вся наша жизнь разрушилась из-за войны. Немцы выслали нас на Украину. Они нас гнали, били, люди умирали от голода, как мухи. В 1941 году умерли сначала отец, а спустя два дня и мать. Я осталась с братиком. Мне сейчас 13 лет.

Хая Хантверкер

СИРОТЫ

1. В Яме

Маленькая Хинка Врублевич рассказала командиру Красной Армии, своему спасителю, капитану В. Крапивину короткую, но страшную историю. Когда к капитану подвели это странное существо с длинными спутанными волосами, с босыми ногами, в грязных лохмотьях и с цыпками на кистях рук, капитан Крапивин не сразу определил, что перед ним ребенок, даже девочка.

Это одичавшее, утратившее всякий человеческий облик существо начало говорить. Рассказ девочки шаг за шагом воссоздал весь путь страданий и одиночества.

Хинка Врублевич родилась в местечке Высокий Мазовецк. Там до 1941 года жил ее отец, сапожник. Пришли немцы, и вся жизнь изменилась. Все несчастье семьи Врублевич заключалось в том, что они евреи. Первой заботой немцев было создать гетто в местечке. Семья Врублевич: отец 37 лет, мать 40 лет, три брата — 17, 10 и 7 лет и она, Хинка, прожили в гетто около года, если полуголодное, под вечным страхом смерти существование можно назвать жизнью. Но и это существование окончилось — всех евреев из близлежащих районов начали свозить в получившие за время оккупации мрачную известность Замбовские казармы. Там собирали тысячи, тысячи людей, затем их куда-то увозили, и больше никто не видал обреченных. Страх перед Замбовым был так велик, что вся семья не до-

езжая его, сбежала в лес. Через две недели скитаний по лесам их встретили два поляка – немецкие пособники из Высокого Мазовецка: Высоцкий и Леонард Шикорский. Да, она их хорошо знает. Им удалось забрать и увести в местечко мать и двоих младших братьев. О дальнейшей судьбе несчастных ей известно лишь, что они были направлены в Замбров. Хинка убеждена, что их убили немцы.

Отец, уцелевший старший брат и она ушли глубоко в лес, выкопали себе яму и прожили там целый год, питаясь ягодами и подаянием, собираемым ночами по окрестным деревням. Вскоре отца проследили и убили на глазах маленькой Хинки и ее брата. Дети остались в яме одни... Кругом был лес, болота, глушь...

2. Рассказ девочки из Белостока

Воспоминания десятилетней девочки Доры Шифриной записаны старательным почерком школьницы в разлинованной тетрадке. Она пишет: "В доме, где мы жили, на моих глазах расстреляли около 20 мужчин; увидев это, я схватила маленькую сестричку и брата и полетела к дяде, который жил недалеко от нас. Это произвело на меня ужасное впечатление. Крики и вопли матерей и плач маленьких детей были ужасны. Просто жалость охватывала, когда смотрела на эту картину. Весь дом и все, что мы имели, сгорело. Поселились временно у дяди. Немцы страшно свирепствовали. Очень много евреев убили, только на нашем и на соседнем дворе они убили 75 человек. 16000 забрали будто бы на работу, сказали, чтобы внесли контрибуцию, – тогда отпустят, но никого не выпустили, а всех убили и сожгли...

Когда всюду горело и начала гореть также синаго-

га, варвары-немцы хватали евреев – мужчин, женщин, детей и стариков и бросали их живьем в синагогу”.

Не удалось спастись и родителям Доры Шифрин. Они были убиты на ее глазах.

Десятилетняя девочка это помнит. Она не забудет это никогда.

ПИСЬМА БЕЛОРУССКИХ ДЕТЕЙ
(Село Старые Журавли Гомельской области)

1

Немцы загнали всех евреев в одно место, заставляли работать на немцев. Так они жили два месяца. Потом пришли немцы и стали выгонять евреев. Один немец подошел к сапожнику, а сапожник его стукнул по лбу молотком, и немец упал. Сапожника застрелили. Остальных евреев посадили на машины и увезли убивать. Когда везли, одна женщина соскочила с машины и убежала. Завезли евреев к больнице и там убили.

В. Воробьева, 4-й класс

2

Изверги издевались над евреями, били плеткой. Когда их повезли на расстрел, одна еврейка бросила с машины ребенка. Люди хотели взять, но немцы не дали, потянули к яме и убили. А мать убежала в лес. Она была в лесу до ночи, потом пришла, искала своего мальчика, и немцы ее расстреляли.

Люба Майорова, 4-й класс

СМОЛЕНЩИНА

1. Шамово

Это было в местечке Шамово Рославльского района Смоленской области. 2 февраля 1942 года комендант Мстиславля лейтенант Краузе объявил полицейским: все евреи, проживающие в Шамове, должны быть уничтожены. Обреченных согнали на площадь перед церковью. Их было около 500 человек: старики, старухи, женщины с детьми. Несколько девушек пытались убежать, но полицейские их застрелили.

На кладбище отводили по десять человек. Там расстреливали. Среди обреченных были две сестры Симкины. Младшую, Раису, студентку Ленинградского пединститута, убили одной из первых. Старшая, Фаня, оставшаяся в живых, рассказывает:

— Это было под вечер 1 февраля. Мы с сестрой поцеловались, простились — мы знали, что идем на смерть. У меня был сын, Валерий, ему было 9 месяцев. Я его хотела оставить дома, авось кто-нибудь возьмет и вырастит, но сестра сказала: "Не нужно. Все равно он погибнет. Пусть хоть вместе с тобой умрет". Я его завернула в одеяло. Ему было тепло. Сестру повели первой. Мы слышали крики, выстрелы. Затем все стихло. Во второй партии повели нас. Привели на кладбище. Детей подымали за волосы или за воротник, как котят, и стреляли им в голову. Все кладбище кричало. У меня вырвали из рук моего мальчика. Он выкатился на снег. Ему было холодно и больно, он кричал. Затем

я упала от удара. Начали стрелять. Я слышала стоны, проклятия, выстрелы, и я поняла, что они били каждый труп, проверяя, кто еще жив. Меня два раза очень крепко ударили, я молчала. Начали снимать вещи с убитых. На мне была плохонькая юбка, они ее сорвали. Краузе подозвал полицейского, что-то сказал. Все ушли. Я потянулась к Валерику. Он был совсем холодный. Я поцеловала его, попрощалась. Некоторые еще стонали, хрипели, но что я могла сделать? Я пошла. Я думала, что меня убьют. Зачем мне жить? Я одна. Правда, у меня муж на фронте. Но кто знает, жив ли он... Я шла всю ночь. Отморозила руки, у меня нет пальцев, но я дошла до партизан”.

Утром лейтенант Краузе снова послал полицейских на кладбище добить раненых.

Два дня спустя в полицеское управление пришли четыре старых еврея. Они пробовали уйти от смерти, но не нашли пристанища. Шмуילו 70 лет от роду, сказал: ”Можете нас убить”. Стариков отвели в сарай, их били железной палкой, а когда они лишались сознания, оттирали снегом. Потом к правой ноге каждого привязали веревку, перебросили через балку. По команде полицейские поднимали стариков на два метра над землей и сбрасывали вниз. Наконец стариков застрелили.

2. Красный

— До войны я жила в Минске. 24 июня 1941 года я проводила мужа на фронт. Я вышла из города с ребенком, ему было восемь лет, пошла на восток: я решила добраться до моей родины — города Красный, забрать отца и братьев. В Красном меня настигли немцы, они пришли туда 13 июля.

26 июля вывесили объявления — собирали жителей

города. На собрании немцы сказали, что все могут въезжать в дома евреев. Еще немцы заявили, что евреи должны беспрекословно подчиняться всем распоряжениям немецких солдат.

Начали ходить по квартирам, раздевали, разували, били нагайками и плетьюми.

8 августа в дом, где я жила, ворвались эсэсовцы. У них были жестянки с изображением черепа. Они схватили моего брата Бориса Семеновича Глушкина. Ему было 38 лет. Они стали его бить, потом выкинули на улицу, издевались, повесили на грудь доску, наконец бросили в подвал. На следующее утро были расклеены объявления: "Все жители города приглашаются на публичную казнь жида". Моего брата вывели, у него на груди было написано, что сегодня его казнят. Его раздели, привязали к хвосту лошади и поволокли. Он был полумертвый, когда его убили.

На следующую ночь в 2 часа снова стучат в дверь. Пришел комендант. Он потребовал жену казненного еврея. Она плакала, потрясенная страшной смертью мужа, плакали трое детей. Мы думали, что ее убьют, но немцы поступили гнуснее: ее изнасиловали здесь же на дворе.

27 августа прибыл специальный отряд. Согнали евреев, объявили, что они должны немедленно принести все добро и сдать немцам, а потом перейти в гетто. Немцы отгородили участок земли колючей проволокой, повесили вывеску: "Гетто. Вход запрещен". Все евреи, даже дети, должны были носить на груди и на спине шестиконечные звезды из ярко-желтой материи. Каждому было предоставлено право оскорблять и бить человека, у которого была такая звезда.

В гетто по ночам устраивали "проверки", выгоняли на кладбище, насиловали девушек, избивали до потери сознания. Кричали: "Подымите руки, кто думает, что

большевики вернутся” гоготали и снова били. Так каждую ночь.

Это было в феврале. Ночью ворвались эсэсовцы, стали светить фонариками. Их выбор остановился на восемнадцатилетней девушке Эте Кузнецовой. Ей приказали снять рубашку. Она отказалась. Ее долго били нагайкой. Мать боялась, что девушку убьют, шептала: “Не противься”. Она разделась, тогда ее поставили на стул, осветили фонариком, и начали издеваться. Трудно об этом рассказать.

Счастливицы убегали в лес. Но что было делать старикам, женщинам с детьми, больным? У меня были товарищи в Красном, с которыми я хотела уйти партизанить. Мы ждали, чтобы потеплело. Но вот 8 апреля 1942 года товарищи сообщили мне, что прибыл отряд карателей. Мы решили попытать счастье.

За полчаса до оцепления я вышла из города. Куда идти?

Повсюду полиция. Нас травят, как зайцев. Я добралась до лагеря, где находились военнопленные, — я была с ними связана.

Город окружили. Евреев всех загнали в один двор, заставили раздеться. Мой отец пошел первым. Ему было 74 года. Он нес на руках своего двухлетнего внука.

Жена моего старшего брата, которого немцы убили еще в августе, Евгения Глушкина, взяла с собой двух детей — 12 и 7 лет.

Третьего, годовалого, она оставила в люльке, она думала, что, может быть, звери пощадят младенца. Но немцы, закончив расстрел, вернулись в гетто, стали подбирать тряпье. Они увидели в люльке Алика. Немец выволок ребенка на улицу и ударил головой об лед. Начальник отряда приказал разрубить тело младенца на куски и дать его собакам.

Я ушла к партизанам. Мне было трудно с ребенком.

Но в тяжелых условиях сказались солидарность, товарищество, человеческая заботливость. Большие переходы, частые заставы. Я была связной. Дважды я встретила карателей, но ушла. Мой ребенок был ко всему подготовлен. Я ему говорила: "Если меня поймают, если будут бить или колоть булавками, если я буду плакать или кричать, ты молчи". Восемилетний мальчик никогда не жаловался, умело держался с немцами, он был настоящим партизанским питомцем.

Два года мы сражались, и вот пришел день, когда я увидела Красную Армию.

Софья Глушкина, агроном

9. XI. 43 г.

3. Судьба Исаака Розенберга

В местечке Монастырщина Смоленской области проживало много евреев. Был здесь еврейский колхоз. 8 ноября 1941 года немцы истребили всех евреев, 1008 человек. Расстреливали из автоматов, детей закапывали живыми. Когда пойманного полицейского Дудина спросили, действительно ли он бросал живых детей в могилу, он ответил: "Не бросал, а клал".

Были убиты также дети от смешанных браков. Русская по национальности педагог Любовь Александровна Дубовицкая была замужем за евреем. Ее арестовали и подвергли пыткам. Ее дети – семи, четырех лет и годовалый – были убиты. Дубовицкой двадцать семь лет; после пережитого она выглядит старухой.

Монастырщина сожжена, от домов остались печи. Осталась одна печь и от дома, в котором жил служащий районного ЗАГСа Исаак Розенберг. Он был женат на русской женщине, уроженке Жирятинского район-

на Орловской области. У Натальи Емельяновны Розенберг было двое маленьких детей. Они уцелели – матери удалось убедить палачей, что это дети от ее первого мужа.

Наталья Емельяновна спрятала мужа в яме под печкой. Так он провел два с лишним года. Он сидел согнувшись; нельзя было ни лечь, ни встать. Когда он иногда ночью выходил наверх, он не мог выпрямиться. От детей скрывали, что их отец прячется в подполье. Однажды четырехлетняя девочка, заглянув в щель, увидела большие черные глаза. Она закричала в ужасе: "Мама, кто там?" Наталья Емельяновна спокойно ответила: "Я ее давно заметила – это очень большая крыса".

На обрывках газет, которые издавали немцы, марганцевым раствором Исаак Розенберг вел записи изо дня в день, а также записывал рассказы жены о "новом порядке" в Монастырщине. Часто вода наполняла яму. Кашель душил Розенберга, но он не смел кашлянуть. Он писал и об этом.

Дом был хороший, он понравился немцам. Тогда Наталья Емельяновна ночью разобрала крышу. Дом заливало водой, зимой было холодно, зато немцы больше не покушались на дом.

Наталья Емельяновна заболела сыпняком. Ее увезли в больницу. Детей приютила соседка. Исаак Розенберг по ночам вылезал наверх и ел клей с обоев. Так он продержался две недели. А Наталья Емельяновна, лежа в больнице, терзалась, вдруг она в бреду расскажет о муже?

В сентябре 1943 года части Красной Армии подошли вплотную к местечку. Монастырщина – узел дорог, немцы здесь оказали сильное сопротивление. Шли бои. У дома Розенберга стояли немцы с оружием. Наталья Емельяновна взяла детей и, как другие жители Монастырщины, убежала в лес. Она вернулась, когда в мес-

течко ворвались красноармейцы. Она увидела еще дымившуюся золу и печь: дом сгорел. Исаак Розенберг задохнулся от дыма. Он просидел в подполье двадцать шесть месяцев, и умер за два дня до освобождения Монастрыщины советскими частями.

РАССКАЗ РЫБОЛОВА ИЗ КЕРЧИ ИОСИФА ВАЙНГЕРТНЕРА

Когда началась эвакуация из Керчи женщин с детьми, моя жена не хотела ехать. Наши рыболовы, наш консервный завод выполняли заказы фронта, и я не мог оставить работу. Оставлять в городе меня одного жена не соглашалась.

— Если случится, — говорила она, — что тебе придется уходить, уйдем вместе.

По городу был расклеен приказ: все евреи — от грудных детей до стариков — обязаны явиться на регистрацию. Работоспособных отошлют на работы, а дети и старики будут обеспечены хлебом. У кого не будет штампа регистрации, тот подлежит расстрелу.

Я пошел и зарегистрировался вместе с семьей.

На сердце, однако, было тяжело. Не нравилось, что на улицах встречается мало керченских жителей, а евреев вовсе почти не видеть.

— Знаешь, — сказала мне жена, — давай поговорим с Василием Карповичем относительно ребенка.

Зашли к Василию Карповичу, жившему у нас во дворе. Он и Елена Ивановна, пожилые люди, не раз просили заходить к ним:

— В тревожное время лучше, когда люди держатся вместе, — говорили они.

Но мы из дома уходить не хотели и только нашего младшего, Бенчика, отвели к ним. Старший сын наш, Яша, все равно дома не сидел. Школы были закрыты, и

он по целым дням где-то бегал со своими товарищами.

Однажды утром вошли ко мне в дом двое полицейских и немец. Немец вычитал из бумаги мое имя, имя жены и моих детей.

— Соберите, — говорит он, — наиболее нужные вещи, так как вы отправляетесь на работу в совхоз, а квартира ваша будет занята другими. Возьмите с собой ваших сыновей, Якова 14 лет и Бенциона 4 лет. Где они?

— Это ошибка, отвечаю я. — У нас нет детей.

Но тут же мелькает у меня мысль: а что я буду делать, если сейчас они войдут?

Немец что-то записал и приказал следовать за ним. Двор точно вымер. Но я чувствую, что из-за окон квартир за нами тайком следят перепуганные соседи.

Привели нас в тюрьму. Она была переполнена. Встретили там всех наших друзей и знакомых. И так как никто не знает, для чего и надолго ли нас взяли, в голову приходят самые страшные мысли. От тесноты и мрачных предчувствий все возбуждены, громко говорят, дети плачут — с ума можно сойти.

К вечеру пришел начальник тюрьмы.

— Незачем волноваться, граждане! — сказал он сладким голоском. — Выспитесь, отдохните, а завтра мы отвезем вас в ваши совхозы на работу. Будете получать по два кило хлеба в день.

Народ успокоился. Знакомые начали сговариваться о том, чтобы вместе попасть на грузовики и работать в одном совхозе.

На следующее утро к тюрьме подъехало пять грузовиков. Они наполнились людьми и уехали. Я, жена и наши друзья никак не могли пробиться к машинам — до того была велика толкотня. Люди хотели как можно скорей выбраться из тюрьмы и очутиться на свободе, в совхозе. Наиболее сильные пробились вперед, а

мы все оставались, хотя грузовик курсировал весь день.

Ночью кому-то показалось странным, что грузовик оборачивается в течение 25 минут. Куда же они могли за такой срок отвозить людей? Эта мысль так ударила по голове, что всех нас охватил ужас. Так промучились всю ночь.

Утром снова приехали грузовики, и мы вместе с нашими друзьями наконец-то уселись. Как только мы выехали за город, я почувствовал недоброе. Я знаю все пригородные дороги — не в совхоз едем мы! И, прежде чем я успел что-нибудь сообразить, я увидел противотанковые рвы и возле них гору платья.

Как раз здесь остановился автомобиль, и нас согнали. Мы оказались в окружении солдат с винтовками, направленными на нас. Из ямы, еле присыпанные землей, торчали ноги, руки, еще двигающиеся части тела. На секунду мы словно оцепенели. Девочка лет 14-15 с нашей улицы припала ко мне с плачем: "Я не хочу умирать, дяденька!" Это так потрясло нас всех, что мы словно очнулись, Никогда я эту девочку не забуду! Ее плач живет в моей крови, в мозгу, в сердце.

С нас начали срывать верхнюю одежду и гнать в яму — прямо на расстрелянных. Послышались страшные вопли. Солдаты гнали нас в могилу живьем, чтобы не нужно было потом таскать наши тела. Окружавшее нас кольцо сжималось все больше. Нас оттеснили к самому краю ямы, так что мы в нее свалились. В это мгновение раздались выстрелы, и упавших тут же начали засыпать землей. Я распрощался с женой. В то время, как мы стояли обнявшись, пуля попала в голову жены, и кровь ее хлынула мне в лицо. Я подхватил ее и искал место, куда бы ее положить. Но в эту минуту я был сшиблен с ног, на меня упали другие.

Я долго лежал без сознания. Первое ощущение, ко-

торое я, очнувшись, испытал, было такое, что меня покачивает горячая масса, на которой я лежу. Я не понимал, где нахожусь и что произошло. Меня давила тяжесть. Хотелось вытереть лицо, но я не знал, где моя рука. Вдруг я раскрыл глаза и увидел звезды, светящиеся в великой вышине. Я вспомнил обо всем, собрал все силы и сбросил лежавшую на мне землю. Отгреб также землю, лежавшую поблизости. Хочу найти жену. Но кругом темно. Каждый раз беру в руку чью-то голову, всматриваюсь — не жена.

УБИЙСТВО В ДЖАНКОЕ

Перед войной у нас распевали красивую, бодрую песню о еврейском крестьянстве Джанкоя. Песня заканчивалась веселым припевом: "Джанкой, Джанкой". Но вот пришел зверь-Гитлер и перерезал Джанкою горло.

Григорий Пуревич, механик машинно-тракторной станции, обслуживающий еврейские колхозы района, жил в Джанкое во время массовых убийств.

Он привел меня к еврейскому лагерю и рассказал:

— Здесь, на чердаке молочного завода в самом центре Джанкоя, немцы заперли многие сотни евреев, согнанных сюда из окрестных деревень и из города. Теснота и скученность были здесь невыносимые. Дети изнывали от голода и жажды. Каждое утро мы находили несколько умерших. Со мной было так: за несколько дней до прихода немцев меня пригласил на работу директор колейской мельницы. Жена моя с детьми осталась в городе, она — русская. Куда же я, шестидесятилетний человек, пушусь в эвакуацию? Как-нибудь переживем тяжелое время... Пошел я с Колей к директору мельницы, пробыл там несколько дней, но, когда там начались всякого рода разговоры, я не захотел подвергать опасности приютивших меня людей и вернулся в Джанкой.

Прихожу домой и застаю там немцев.

— Ты кто такой? — спрашивают.

— Хозяин! — говорю.

– Пошел вон отсюда!

И меня выкинули. Жены, двух моих дочерей и мальчика не вижу. Они спрятались.

В чужой разрушенной комнате, неподалеку от моего дома, я провел три дня без воды, без хлеба, без каких бы то ни было сведений о моей семье. Вскоре немцы уехали, и я занял свою квартиру. Члены моей семьи вышли из укрытия.

Дня через два являются полицаи.

– Ты кто такой?

Показал им старую бумажку из сберкассы, в которой я написал, что я – караим. Они посмотрели и ушли.

Все евреи Джанкоя были уже на чердаке молочного завода. Их гоняли на тяжелые работы – камни таскать. Надзиратель следил, чтобы камни, даже самые тяжелые, таскали в одиночку. Кто падал под тяжестью, того пристреливали на месте.

Пришли, чтобы меня и мою соседку-караимку забрать в гестапо.

– Я – мусульманка, – заявила соседка.

– А ты кто? – спросили меня.

Соседку отпустили, а меня отослали на завод.

Когда я очутился на проклятом чердаке и увидел, что там творится и что случилось за две-три недели с самыми здоровыми и крепкими колхозными людьми, я чуть с ума не сошел. В углу сутилось несколько человек. Оказалось, что сапожник Кон повесился... Я знал этого молодого веселого человека. Меня это потрясло, но остальные отнеслись к этому, как к обычному делу. В тесноте я встретил всех евреев, которые не эвакуировались из Джанкоя; многих евреев-колхозников из окрестных деревень и неевреев. Крестьян-неевреев здесь держали за то, что они помогали или передавали пищу несчастным.

Среди массы поблекших лиц русские и украинцы

ничем не выделялись. Их глаза, как и глаза остальных, выражали горе и гнев. Беда, говорят, всех равняет.

Я выпросился на работу – дорогу мостить. Лучше погибнуть на улице, чем на чердаке.

Немцы выхватывали из лагеря группу взрослых, детей и стариков и гнали их к противотанковому рву, что за городом. Зима, снег, люди голодны и больны, еле плетутся. Гонят. Ребенок лет 3 – отстал. Немец бьет его резиновой дубинкой. Ребенок падает. И опять резиновая палка ударяет по спине ребенка.

Возле рва их выстроили и начали расстреливать. Дети разбежались в разные стороны. Немцы рассвирепели, стали гоняться за детьми... стреляли в них, ловили и, ухватив за ноги, били об землю.

Мы работали на дороге, возле тракта, идущего из Керчи в Армянск. На дороге было полно убитых и замученных пленных красноармейцев.

К вечеру нас отводили обратно на чердак. Туда же отвели русского, бухгалтера молочного треста Варда. К нему пришли за его женой-еврейкой и ребенком. Он стал сопротивляться, схватил жандарма за глотку. "И меня берите!" – крикнул он. Вот его и забрали.

Однажды ночью у молодой женщины Кацман начались роды. Тихий плач, прерываемый воплями роженицы, доносился со всех сторон. Ее муж Яков Кацман, моодой комбайнер еврейского колхоза, где-то на фронте в рядах Красной Армии. Его непрерывно вспоминают...

Никогда не думал он, что его молодая жена будет рожать первенца в этой могиле.

На рассвете старший жандарм со своими помощниками пришел контролировать лагерь. Он подошел к роженице, повернул к себе новорожденного, взял у одного из своих помощников винтовку и вонзил штык ребенку в глаз.

В лагере был заведующий "хозяйством" Редченко, человек, который притворялся злым. На самом деле он тайком поддерживал ребят, чем только мог. Он ежедневно подбрасывал им хлеб и сухари так ловко, что никто не мог догадаться, когда и как он это делал.

ИЗ ДНЕВНИКА СКУЛЬПТОРА РИВОША

(Рига)

На Московском форштадте начинают огораживать несколько кварталов – строят гетто. Перед нами ожило средневековье. Евреям запрещено покупать в лавках, читать газеты и... курить.

Организовался так называемый юденрат – представители местных евреев. Еврейский совет должен заботиться о медицинской помощи, о размещении евреев и т.п. В него вошли Г.Минскер, Блуменау, Кауфер, М.Минц. На рукавах у них голубая повязка со звездой, на груди и спине, конечно, тоже по звезде – словом, разукрасили их вовсю. Юденрат помещался на улице Лачплеша, около Московской, в бывшей школе.

В городе много самоубийств, главным образом, среди врачей.

Мой маленький сынок Димочка стал пугливым, нервным. Как только завидит на улице немецкого солдата, тотчас бежит в дом. Бедный ребенок боится, он не понимает даже, что такое еврей. Нашей крошке-дочурке хорошо, она еще совсем глупая, она не знает ни горя, ни страха...

Мама с московского форштадта принесла съестное. Еврейские порции, конечно, гораздо меньше нормальных, к тому же продукты самого низкого качества. Мама разбита виденным и слышанным.

Забор вокруг гетто строят усердно, местами уже натягивают колючую проволоку.

На Московском форштадте рябит в глазах от желтых звезд. Мужчин почти не видать, только старухи и дети. Но не видно ни одного играющего ребенка, все как загнанные зверьки боязливо держатся около матерей или сидят в подворотнях.

Со всех сторон тянутся тележники-евреи с разным хламом. Большой бывший школьный двор битком набит народом. И здесь совсем мало мужчин, большинство женщин; у них печальные лица, заплаканные глаза. Вдоль забора — горы мебели, хлам, который разрешили взять с собой после выселения. Часть мебели расклеилась от дождя.

Встречаем знакомых, нет никого, кто не потерял бы близких родственников. Встретили Ноэми Ваг. Она решила уйти из жизни, так как ее мужа Моню сожгли живьем в синагоге. Она производит впечатление не совсем нормальной. Встретили Феню Фальк, ее мужа и брата забрали. На руках у нее больная мать, маленький сын Феликс, невестка с двумя крошечными детьми. Мне больно было видеть, как она осунулась и постарела. Когда-то я с ней катался на шоссе на велосипеде, и она меня пугала. Дурачились, она мчалась прямо на встречные автомобили. Я сердился, ругал ее, но она уверяла, что с ней никогда не может случиться ничего плохого, она говорила, что умрет, когда будет совсем-совсем старенькой... Кто может знать свою судьбу? Теперь смерть занесла над ней свою страшную, палаческую гитлеровскую лапу...

Бетти Марковна рассказала мне случай с падчерицей Геди. Геди — тип красивой северной арийки, высокая, прекрасно сложенная: светлая блондинка с васильковыми глазами, прямым носом. Она выросла в Вене и, естественно, великолепно говорит по-немецки. На улице ее остановил немецкий офицер и резко обвинил в провокации за то, что она нацепила еврейские звезды.

Когда она спокойно заявила, что нет никакой причины для волнения, так как она в полном праве носить эти "знаки отличия", он расвирепел вконец.

Психологическая загадка. Последние месяцы перед войной я работал в мастерской, где нас было четверо — Ной Карлис, мастер Л., я и еще один парень неопределенной профессии по имени Анравс. Про него мне рассказывали всякие нелепые истории и, вообще, всячески настраивали против него. У меня с ним не было никаких отношений, ни плохих, ни хороших. Когда я очутился вне закона, все бывшие друзья детства — арийцы, все друзья по работе исчезли, и тут, как чудо, является А. Пришел и просто заявил, что хочет помочь мне и моей семье, что готов сделать все, что будет в его силах. Он сказал, что решил взять работу по ремонту поврежденных войной фасадов домов, а меня устроить у себя. Он стал приносить Диме гостинцы, играл с ним, словом, проявлял глубокий интерес к нашей судьбе. Для этого нужна была немалая доля душевной стойкости и благородства. Есть большая человеческая радость в том, чтобы в беде находить друзей...

В гетто евреев начали выселять по районам. Первыми идут жители центральных районов. Многим, перебравшимся на Московский форштадт, но поселившимся не на входящих в гетто улицах, опять приходится искать и менять свое жилье.

Приезжала из Лимбажи Димкина Меланья, плакала и умоляла отдать мальчика. Я готов был согласиться, но Аля заявила, что если нам суждено погибнуть, так она не хочет оставить сироту. Право распоряжаться детьми принадлежит матери, — Димочку Меланье не дали.

Вечер. Ветер, осенний проливной дождь. В такую погоду чувствуешь себя спокойнее, знаешь, что непрощенные гости не пожалуют. Сижу с Алей и Димочкой

на кровати и, уйдя в свои мысли, напеваю советскую песенку. Димочка взобрался к матери на колени. Вдруг я слышу ее возглас: "Димочка, что с тобой, солнышко, что ты плачешь?" Димочка не отвечает, он весь красный и трется лицом о ее шею. Сквозь слезы он говорит тихим голосом: "Папочка поет советскую песенку, она мне так нравится, я давно ее не слышал, Мамочка, только бы немцы ее не услышали". У Али по щекам текут слезы. Я закуриваю папиросу. Маленькое существо, у него уже разбито сердечко. А я и не думал, что мой сынок так глубоко переживает...

Наступает и наш черед перебраться в гетто.

Пошел с Алей искать жилье.

Я стараюсь всячески ее успокоить, отвлечь от темных мыслей, расписываю, как мы устроимся, уверяю, что сделаю даже голубятню на чердаке. Мы целуемся и шутим, так как мы хотим обмануть друг друга. Темнеет. Мы отправляемся за Двину; может быть, в последний раз совершаем мы этот путь. Идем под руку, в близости мы хотим найти утешение.

Завтра мы должны покинуть свое насиженное, любимое гнездо, свой родной дом. С невыразимой тоской хожу по комнатам; злоба, отчаяние душат меня. Димочка тоже в страшном волнении. И все напоминает мне, чтобы мы не забыли забрать его игрушки. Он перечисляет свое добро: гипсовые собаки и слоны, кубики, и поезд, и грузовики. В тревоге он говорит: "Мамочка, а что если немцы не дадут забрать мой аэроплан, ты сможешь его спрятать?" Как взрослый, он успокаивает мать: "Если заберут мою кроватку, мамочка, ты не огорчайся, я же могу у вас спать".

Утро. Осенний ветер.

Двое полицейских с портфелями, с деловым видом, в сопровождении дворничихи, появляются на дворе.

Они проходят важно, презрительно осматривают нашу квартиру.

Я иду искать извозчика.

Евреям на арийской телеге, с арийской лошастью и арийским извозчиком ездить не разрешается, — это, видимо, тоже считается осквернением расы. Но мы решаем пренебречь этим распоряжением.

Грузим воз. Воз растет, куча хлама на дворе убывает. Натягиваем веревки. Надо прощаться...

Воз медленно, но верно приближается к цели. Мост уже позади. Мы все ближе и ближе к колючей проволоке. Воз с Московской сворачивает на улицу Лачплеша. Справа забор, еще несколько минут, и мы въезжаем в ворота гетто. Садовниковская улица. Грубый булыжник, воз покачивается и трясется. Впереди нас и за нами тоже возы. Улицы полны народу. Вот и наша "квартира": Маза Калну, дом 11/9/7, кв. 5. Взяв разбег, лошадь, сопя, втаскивает воз в ворота. Наскоро втаскиваем барахло и запираем его пока в сарай. Направляюсь к Гутманам — втаскивать вещи стариков. На улице Лудзас, около маленького домика, меня кто-то окликает. Вижу в окне знакомого жестянщика Маркушевича. Он очень просит зайти на несколько минут, ему хочется закурить и заодно поболтать. У Маркушевича большая семья, несколько взрослых дочек, одна с детьми, все живут в одной комнате. Жена его, хотя ей не больше 40 лет, выглядит, как настоящая старуха. Спрашиваю, где он работает и как живет. Не жалуется, он всю жизнь нуждался, и нужда ему близка, как мать. Работает он у немцев. Я думал, что к нему, как к мастеру-специалисту, отношение лучше и положение его легче. Когда я высказал это предположение, он даже отшатнулся: "Что вы, что вы, стану и для них работать, как специалист и приносить им пользу; они даже не знают, что я умею резать жесьь..."

РАССКАЗ СЕМЫ ШПУНГИНА

(Двинск)

Мне 16 лет. Когда пришли немцы, мне было 12. Я тогда перешел в пятый класс. Мы жили в Двинске, на улице Райниса, 83/85. Отец, Илья Шпунгин, был фотографом. Еще у меня были мать и шестилетняя сестра Роза.

Когда пришли немцы, мы всей семьей, со многими друзьями ушли из Двинска пешком. Шли под бомбежкой. Дошли до самой Белоруссии, и тут немцы нас обогнали. Мы поняли, что дальше не проберемся, и вернулись в Двинск.

В Двинске евреев ловили на улицах и уводили в тюрьму, где над ними очень издевались. Их заставляли без конца ложиться на землю и вскакивать и пристреливали тех, кто не мог делать это быстро. Мы не дошли до своего дома, наш дом сгорел, и мы на некоторое время поселились у бабушки, а потом нас перевели в гетто. Это было "счастьем", потому что в тюрьме расстреляли много народу. Их убивали во дворе и в железнодорожном саду.

20 июля все евреи, оставшиеся в живых, оказались в гетто. Оно было устроено на другом берегу Двины, напротив крепости, в старом здании. Немцы сами говорили, что оно не годится и для лошадей. С нами был доктор Гуревич. Он сказал, что дети не проживут здесь больше двух месяцев. Но дети прожили дольше.

Было очень тесно и грязно. И очень холодно: жили

без стекол, а здание было каменное. Приблизительно недели через две немцы велели всем старикам (не помню точно, кажется, старше 65 лет) собраться во дворе и сказали, что их переведут во "второй лагерь". Вместо этого стариков расстреляли. В то же время расстреляли всех, кто приехал в Двинск из других мест. Вещи убитых палачи брали себе.

Потом началась "сортировка". Это делалось почти каждый день. Собирали людей и делили их на две группы. При этом никто не знал, почему его включают в ту или иную группу, и что будет с его группой: поведут на работы или на расстрел.

Палачи очень часто бывали пьяные.

Было очень холодно. А немцы еще объявили вдруг "карантин". Во время карантина нельзя было уходить в город даже на работу. А выдавали нам по 125 граммов ужасного хлеба и воду с гнилой капустой. Люди начали пухнуть от голода. Одна женщина по фамилии Меерович, у которой было семь детей, тайком пыталась попросить хлеба у рабочих, работающих возле гетто. Ее поймали и расстреляли на глазах у всех. Детей ее убили 1 мая 1942 года.

Я заболел брюшным тифом и меня спрятали в самом гетто, чтобы немцы не убили; я поправился.

Нашей семье везло до 6 ноября. Мы даже удивлялись, что все четверо еще уцелели. Папа работал: он тайком приносил немного еды. Он недоедал того, что ему давали на работе, и тайком приносил это в гетто.

6 ноября началась большая сортировка. Одна женщина, которая стояла недалеко от нас, бросилась бежать. Ее не поймали, и немцы объявили, что за нее расстреляют десять других. Уже отобрали мою мать и сестру, и они вышли из рядов. Должен был идти и я. Но я схватил маму за руку, а она держала сестру, и я втащил их обратно в толпу. А толпа была густая,

искать в ней было долго и немцы не обратили на это внимания.

9 ноября мужчины, которые работали у немцев, в том числе мой отец, ушли. А после их ухода всех выгнали во двор. Велели сперва, чтобы из толпы вышли члены назначенного немцами "комитета", а потом — чтобы отдельно построились медицинские работники с семьями. Не знаю, как я догадался, что остальных убьют. Я бросился к медицинским работникам и стал умолять, чтобы кто-нибудь объявил меня своим сыном. Зубной врач Магид, у которого была маленькая дочь, сказал мне: "Хорошо". Тогда я кинулся к матери и сестре. Но я уже не нашел их. Я обегал всех, я кричал: "Мамочка! Роза!" Никто не отзывался. Оказалось, что одну партию немцы уже увели. Вероятно, мама и Роза были в этой партии. А я помнил, как я все спрашивал маму, когда нас вывели во двор: "Мама, куда нам идти?" И Роза тоже спрашивала маму, куда идти. Мы ведь понимали, и Роза тоже, что одних будут убивать, а других оставлять. А мама отвечала: "Не знаю". Я хотел отвести Розу, а потом маму к медицинским работникам и умолить кого-нибудь, чтобы их тоже выдали за членов семьи. Но я опоздал.

Вечером вернулся папа и те, кто работал с ним. Папа уже что-то знал. Он сразу спросил меня: "Мама есть? Роза есть?"

В гетто поднялся ужасный плач. Очень много мужчин не нашли больше никого из своих семей. И папа ужасно плакал. Немцы сказали, что будут стрелять, если плач не прекратится.

Убивали всю зиму. Мы с папой остались одни. На случай новой "сортировки" мы условились, что спрячемся в одном тайнике. Один раз я не успел там спрятаться и просидел целый день в уборной по горло в нечистотах. В уборную приходили, но меня не заметили.

Зимой во дворе при всех повесили женщину по фамилии Гительсон. Ее поймали в городе. Она имела право быть там, но она не надела еврейского знака и шла по тротуару, а не по мостовой, как было приказано евреям. Мы не имели права ступить на тротуар. И еще повесили одну девушку, фамилии которой я не знаю, а звали ее Машей, — она пыталась скрыть, что она еврейка. Вешать заставили одного еврея, фамилии которого я не знаю. Он отказался, его били. В конце концов немцы сами накинули петлю, а его заставили под прицелом автомата выбить скамейку из-под ног Маши. Несколько немцев снимали это.

Помню еще, как вечером прибежали полицейские и сказали, что у них сломалась машина и что им нужна веревка. Им дали цепь, они сказали, что цепь не годится, тогда все поняли, что веревка им нужна не для машины, и мы сказали, что веревок у нас нет. Они долго ругались, потом уехали. Потом оказалось, что они везли кого-то на расстрел и решили повесить его, но у них не было веревки.

Следующая большая сортировка с убийствами была 1 мая 1942 года. Нас уже оставалось совсем немного, — может быть, тысячи полторы. После 1 мая осталось 375 человек, не считая тех, кто работал на немцев. Люди часто говорили: "Чем мы лучше наших родителей, наших жен, братьев, сестер и детей? Разве мы можем жить, когда они убиты?" Бежать было некуда, наш город маленький, скрыться нельзя. Где партизаны — мы не знали. Все-таки кое-кто вооружился. Оружие взяли на немецких складах, в крепости, где работало много наших. Я спрашивал папу — не воровство ли это. Но папа сказал, что немцы забрали у нас все, убили наших близких, убивают весь еврейский народ, и, значит не преступление, а война. А немцы не солдаты, а преступники.

Молодежь убегала к партизанам. Нам с папой было трудно сделать это. У нас не было оружия, папе трудно было уйти с того места, где погибли мама и Роза, и он боялся за меня. Мне тогда было 13 лет.

23 сентября ночью (даже под утро) вдруг прибежали тайные часовые, которых мы сами выставляли, и закричали: "Евреи! Кажется, очень плохо! Гестаповцы приехали!"

Оказалось, что гестаповцы уже во дворе. Они могли приехать только для убийства. Я крикнул папе: "Папочка, я на старое место!" — то-есть на наше условное место. И бросился бежать, думая, что отец бежит за мной. Наверно, он и бежал за мной. Но к нашему месту уже нельзя было пройти: дорога была отрезана. Я кинулся под лестницу, потом через окно выскочил на улицу. Было очень темно. Я подождал минуту — отца нет... Началась перестрелка между нашими и гестаповцами. Потом мне рассказали уцелевшие, что в эту ночь, в ожидании смерти, много людей отравилось (они приняли яд) вешались, чтобы не попасть живыми в руки гестапо. Говорят, что Фейгин, у которого немцы застрелили родных, припрятал много веревки и давал каждому, кто хотел повеситься, а под конец повесился сам. Некоторые из спасшихся это сами видели.

В темноте я столкнулся с двумя взрослыми и одним мальчиком моего возраста, которые бежали, как я. Мы пошли по дороге. Взрослые скоро отстали: вечером мы слишком рисковали, что нас заметят. До вечера мы с мальчиком (помню только, что он из Креслава и звать его Нося) прошли 25 километров. Я очень стер ноги. При встречах с людьми я кричал: "Ваня, где папа?" или громко пел русские песни, чтобы нас приняли за местных русских. Нося очень боялся. Переночевали мы в сгоревшем доме. Утром мы поняли, что в Белоруссию не попадем; я решил идти в

Польшу. Нас накормила какая-то женщина, которой я прямо сказал, что мы бежали от немцев. Нося говорил, что надо сдаваться — все равно мы не можем скрыться, но я его ободрял. По дороге ехал грузовик. Я решил не обращать на него внимания, а Нося остановился. Я ушел вперед и не заметил этого, потому что решил не оглядываться. Я услышал крик по-немецки. Тогда я свернул на тропинку. Скоро меня нагнал велосипедист и сказал мне, что в грузовике сидят гестаповцы и что велели мне идти к ним. Я сказал: "Не пойду". Велосипедист сказал: "Как знаешь. Только за это можешь ответить". Но сам он поехал дальше, а не к немцам. Я спрятался в кустах. Слышал свистки, слышал, как немцы кого-то спрашивали, не видал ли он мальчика. Нося тогда поймали.

Так я остался совсем один. Когда все затихло, пошел дальше. Решил себя выдавать за вывезенного немцами из центральных областей СССР. Но я еще не успел придумать, что я буду говорить, как меня уже арестовали. Пока меня вели по дороге в штаб, я успел выбросить из кармана маленькую красную звезду — в гетто я ее сберег. На допросе я заявил, что меня зовут Иван Островский, что отец мой татарин, а мать русская. Мне казалось, что надо объяснить, почему у меня густые, черные брови, и я еще прибавил, что у меня бабушка цыганка. Я не знал, что немцы истребляют всех цыган. Я знал, что мусульмане подвергают детей обряду обрезания, когда им исполняется 13 лет, то-есть как раз столько, сколько мне было. А я еще сказал, что отец мой умер, когда мне был один год, в оправдание того, что я не понимаю ни слова по-татарски. На мое счастье, немцы рабирались в этих делах так же мало, как я. Я придумал, что моя мать была прачкой и работала в "Коллективе лесного департамента" в Брянске. Все это было первое, что приходило мне в голову. О

Брянске я не имел никакого понятия, и, когда меня спросили, где мы с матерью жили, я ответил: "за городом, в слободе, адреса у нас не было, и писали нам так: "Брянск. КЛД". Убежать мне не удалось, и утром меня отправили в Двинск. У меня ужасно болели ноги, но с дороги я все-таки попробовал бежать, потому что понимал, что в Двинске меня, конечно, выведут на чистую воду, а то и просто узнают. Но меня поймали, избили и повели дальше.

В двинской полиции меня все били и все приставали: "Скажи правду, что ты еврей, и тебе ничего не будет, а то убьем". Но я стоял на своем. Тут мне очень повезло. Во-первых, из той деревни, где меня арестовали, так и не прислали моего документа, из которого я вырвал слово "еврей", но по которому меня сейчас же узнали бы: ведь там значилась моя настоящая фамилия. Во-вторых, так и не пришел врач, который должен был меня освидетельствовать, чтобы установить мусульманин я или еврей. Наконец, в сопроводительном документе из деревни было сказано, что в Двинск посылается подозрительный мальчик, выдающий себя за Ивана Островского. И это имя так и осталось за мной.

В полиции меня сильно били. Один раз полицейский дал мне такую пощечину, что я покатился кубарем: я не встал, когда он вошел в камеру. Я уже думал, что погиб, но решил не сдаваться до конца. И вдруг меня отправили в "Арbeitsamt" (биржа труда). В бумаге было сказано, что "выдающегося себя за Ивана Островского" надо отправить на работы. Очевидно, мне все-таки поверили. "Арbeitsamt" дал мне путевку в деревню. В ней уже было просто сказано: Иван Островский. В деревне я и провел почти 9 месяцев до прихода Красной Армии. Там я никому не сказал, что я еврей. Только раз со сна я закричал по-еврейски. Хозяин стал меня допрашивать, но я уговорил его, что кричал по-

немецки. После этого я очень тревожно спал, боясь, что опять закричу.

Когда я вернулся в Двинск, евреи, которых я встретил и которые спаслись из гетто, рассказали мне, что мой отец еще три недели прятался в городе, пока его не нашли и не убили.

Я не могу сказать точно сколько нас было в гетто. Всего в Двинске погибло больше 30000 евреев, а в гетто, как мне кажется, было около 20000. Вот фамилии тех, кто выжил: мужчины – два брата Покерман, Мотл Кром с женой и ребенком, портной Анतिकоль, Ляк с женой и ребенком, Мулер, Галлерман и две женщины: Олим и Зеликман. Всего спаслось 18 человек, но фамилий остальных я не помню.

Я уехал из Двинска и не хотел бы возвращаться туда, потому что мне было больно ходить по улицам, по которым ходили мои родные и столько погибших евреев, и проходить мимо нашего сожженного дома. Больше всего я хочу учиться и найти людей, которых бы я полюбил, и они меня тоже, чтобы не чувствовать себя одиноким в мире.

ДЕТИ С ЧЕРНОЙ ДОРОГИ

Мы шли по полю, густо заросшему люпином. Солнце жгло, шелест сухих листьев и треск сучков сливались в грустные, почти певучие звуки. Обнажив седую трясущуюся голову, старик-проводник перекрестился и сказал:

— Вы шагаете по могилам.

Мы шли по земле Треблинского лагеря смерти, куда немцы свозили евреев со всех концов Европы и оккупированных районов СССР.

Здесь немцами были умерщвлены миллионы людей. Страшная черная дорога прорезывает треблинское поле; она черна оттого, что на протяжении трех километров засыпана человеческим пеплом.

На подводах подвозили тонны пепла, 11 — 13 летние дети-заключенные разбрасывали его по дороге. Их называли "дети с черной дороги".

В морозный февральский день 1943 года очередной товарный поезд в числе прочих "пассажиров" доставил в Треблинский лагерь смерти 60 мальчиков. Это были еврейские дети из Варшавы, Вильно. Гродно, Белосток и Бреста. При высадке эшелона их отделили от семей. Взрослые были отправлены в лагерь смерти, а мальчики — в "трудовой лагерь".

Начальник этого лагеря, гаупштурмфюрер, голландский немец Ван-Эйпен решил, что мальчиков убить всегда успеет, а пока их можно использовать на работе.

Он поручил унтерштурмфюреру Фрицу Прейфи взять детей под свое начало.

Детей, оставленных для работы, разместили в бараке. Их койками были нары, устроенные в три яруса. Прейфи приказал, чтобы они спали на необструганных досках. Самого рослого из них — 14-летнего Лейбу — он назначил капо (вожаком).

В пять часов утра отряд детей шел на работу. Весь день до них доносились вопли тысяч убиваемых немцами мужчин, женщин и детей. Крики то замирали, то вновь нарастали. Это были вопли горя и мук. Они леденили сердце, наполняли души мальчиков несказанным страданием.

Взрослые обитатели барака приняли ребят с трогательным участием, какое могут проявить только отцы, потерявшие собственных детей. Это были евреи — рабочие высокой квалификации, оставленные в живых для работы, семьи их были истреблены.

Среди них был пожилой мастер из гродненского мясокомбината Арон, его фамилия осталась неизвестна (в лагере людей называли по имени или по кличке), который сдружился с ребятами. Они ласкательно называли его Арли.

Арли хорошо пел и даже сочинял песни. Чтобы отвлечь ребят от мрачных мыслей, он по вечерам учил их петь. Рыжего мальчика прозвали Рыжиком. Он обладал мягким дискантом и хорошо пел. Когда Рыжик пел, каждый из взрослых вспоминал своих детей. Арон плакал и гладил мальчика по голове.

У детей из советских райнов немцы отняли все. Отняли родных, дом, школу, книги, отняли радость, мечты, детство. Одного только не смели немцы отнять — песен. И они пели о Родине, о Москве. Нередко в мрачном тесном бараке звучала песня: "Широка страна моя родная".

Отряд детей пас гусей, коров, чистил на кухне картошку, пилил дрова. Весь лагерь знал детей. По приказу Прейфи ребят одели в форму — синие полотняные мундирчики с железными пуговицами. Прейфи заставлял ребят часами маршировать и добивался идеальной отработки строевого шага на манер солдатского. Он забавлялся ребятами, как живыми игрушками и ломал их, когда хотел. Он хвастливо показывал маршировку своих "игрушек" начальнику Ван-Эйпену.

Однажды Арли решил расшевелить в немце чувство жалости к детям. Он заставил ребят спеть самую грустную песню, которую знал. Детские голоса звенели безмерной горечью.

В это время вошел еще один мальчик, несший тощую брюкву своему Арли. Немец подозвал столяра из Варшавы Макса Левита, дал ему палку и приказал нанести мальчику 25 ударов. Левит слабо ударил один раз. Прейфи вырвал у него палку и с остервенением начал избивать мальчика. Последние удары он нанес уже мертвому. Разбив "игрушку", Прейфи сказал: "Вот как надо бить".

Был среди ребят мальчик Иzaak. Он умел хорошо плясать. Прейфи приказал Изаку плясать на столе, потому что все заводные игрушки пляшут на столах. И Иzaak плясал на квадратном метре стола с поразительной быстротой, с мертвым механическим ритмом, с восковым печальным лицом, действительно похожий на заводную игрушку.

Был еще мальчик Яша — художник. Он рисовал на кусках фанеры унылые картины из жизни лагеря. Иногда он рисовал танк с пятиконечной звездой, который, разрывая проволочные заграждения, давил вахманов (охранников). Потом он быстро стирал рисунок. Яша и Рыжик спали вместе. В холодные ночи малень-

кий певец и маленький художник согревали друг друга.

Прейфи был откомандирован в Краковский лагерь. Начальник лагеря Ван-Эйпен назначил "шефом" ребят другого унтерштурмфюрера — Штрумпфе. Это был молодой упитанный эсэсовец гигантского роста. По показаниям свидетелей, поляков и евреев, Штрумпфе всегда смеялся во время казни заключенных и был прозван "Смеющаяся смерть".

Этот "шеф" нашел новую работу для детей. Он приказал отряду вооружиться лопатами и разбрасывать по дороге человеческий пепел, который подвозили в вагонетках из лагеря смерти.

Наступил июль. Солнце жгло нещадно. Воздух накалился так, что нельзя было дышать. Задыхаясь от жары и смрада, истощенные, измученные дети, подгоняемые нагайками вахманов, падали в обморок на пепел своих отцов и матерей.

Во время вечерней проверки Штрумпфе обнаружил, что не хватает пятерых ребят. Особенно заметно было отсутствие Рыжика.

— Где Рыжик? — рявкнул "шеф".

— Я здесь, — раздался робкий голос.

Штрумпфе заметил чернокудрого мальчика. Это был Рыжик, весь в черной пыли. Штрумпфе подошел, погрузил пальцы в густые кудри мальчика, поднял его сильной рукой за волосы.

— Негритос, — презрительно сказал он и отпустил Рыжика. Нехватало четверых. Оказалось, что двое умерли, не выдержав нечеловеческих мук. Их маленькие тельца лежали на черной дороге среди пепла. Исчезли двое: тихий Миша и красавец Полютек. Мальчики бежали.

Беглецов поймали через несколько дней на железнодорожной станции и привели в лагерь.

Отряд выстроился перед виселицей. Подвели Мишу и Полютека. Их руки не были связаны. Унтерштурмфюрер Ланц сказал: "Так лучше. Если руки свободны, повешенный начинает махать ими, как птица, и улетает прямо на небо".

"Смеющаяся смерть" — Штрумпфе громко захохотал. Ребят повесили. Полютек умер быстро, почти без судорог. Для Миши веревка оказалась черезчур длинной, и он носками доставал до земли. Он долго хрипел, вздрагивал, вращая во все стороны страшными глазами. Ленц отвязал конец веревки от бревна, положил живого еще мальчика на землю, уперся ногой в его голову, и, туго стянув петлю, легко поднял худенькое тельце Миши и снова его повесил.

Впервые мальчики заплакали. Муки товарищей растопили окаменевшие сердца. Стасику стало дурно. Его поддержал "капо" Лейб; он сказал:

— Не плачьте, Мише и Полютеку теперь хорошо, ведь они больше не будут жить.

Гаупштурмфюрер Ван-Эйпен и унтерштурмфюрер, Штрумпфе, Ланц, Гаген и Ледеке сели на велосипеды, сделали большой круг вокруг виселицы и, весело переговариваясь о чем-то, сфотографировались.

Вечером дети пели песню, которую называли "Мы проиграли". Ее сочинил Арли. Длинная, заунывная, она рисовала жизнь лагеря, оплакивала живых ребят.

Кончалась песня так:

Бушует на поле смерти костер,
Жжет сердце пепел братьев и сестер.
На этом свете нам больше не жить,
Мы прожили свою короткую жизнь.

Всю ночь после казни друзей дети не могли уснуть, Певец и художник, обнявшись, тихо плакали.

22 июня 1944 года отряд детей был направлен с ло-

патами не на черную дорогу, а к опушке леса. Там надо рыть ямы "для зенитных точек", объяснил им Штрумпфе. Но капо заметил, что яма, которую они рыли, не похожа на зенитную точку. Скоро все услышали отдаленный гул орудий — это приближался фронт. Рыжик прислушался к гулу и сказал:

— Немцы бегут, а мы останемся здесь, — и стукнул лопатой о дно ямы.

Дети поняли, что копают могилу. Рано или поздно это должно было случиться. Они были обречены, и смерть их не страшила. Она стала спутницей их короткой жизни в лагере. И Рыжик спокойно сказал своему неразлучному другу Яше:

— Когда нас убьют, давай ляжем рядом.

— Мы упадем в яму как попало. Как же мертвые могут лечь рядом?

— Могут. Мы встанем на краю могилы, обнимемся и вместе упадем. Вот и все.

И они оба аккуратно разравняли края могилы.

Наступило утро. Вдали за оградой крестьяне убрали хлеб, запасались на зиму сеном. Гул орудий слышался яснее. Нервно свистя, куда-то неслись немецкие паровозы. Немцы спешно ликвидировали "треблинский трудовой лагерь" (лагерь смерти был ликвидирован раньше). Гауптунтер и прочие фюреры, вахманы выливали оставшиеся запасы вина. В 9 часов утра начались расстрелы. Для безопасности к могилам вели только по 10 человек. "Работа" затянулась до вечера. Вот повели очередную десятку в числе которой были Арли и столяр Макс Левит. Проходя мимо ждавших своей очереди ребят, Арли крикнул:

— Прощайте, дети мои!

— Прощайте, — ответили ребята.

— До свидания, Арли, мы скоро придем к тебе, — сказал Лейба.

Рыжик, прошмыгнув мимо вахмана, цепко обхватил Арли, прижался к нему. Арли обнял своего любимца.

— Когда мы пели последний раз? В среду? Запомни. В среду... — сказал он мальчику.

Арли знал, что он идет на расстрел. Он знал, что будет убит и маленький певец. Для чего он сказал "запомни"? Не успел Рыжик задать вопрос, как вахман отшвырнул его в сторону.

Когда вахманы отсчитали 10 ребят, весь отряд взбунтовался:

— Мы хотим умереть все вместе.

Их было 30. Вахманы торопились, поэтому уступили. Лейб выстроил свой отряд и, подняв голову, повел их строем — к могилам, которые они сами вырыли.

Макс Левит уже лежал в яме. Пьяные вахманы стреляли плохо. Макс Левит был невредим, но притворился мертвым. До него доносились стройные детские голоса. Они пели, идя на смерть. Маленькие смертники пели песню о советской Москве.

Ближе, громче, ближе. Левит слышал дружный топот ног и окрик немца Шварца:

— Молчать!

— Да здравствует Сталин! — отвечал отряд. — Он отомстит за нас!

Певец и художник крепко обняли друг друга. Раздался залп. Сраженный насмерть Яша, падая, увлек раненого Рыжика в яму. Рыжик зашевелился, пристроился поплотнее к другу, взглянул на страшное лицо лежавшего рядом Арли. Мальчик закрыл глаза и, упершись лбом в плечо Яши, минуту не шевелился. Потом Рыжик поднял голову и произнес:

— Пан вахман не трафил (не попал), проше пана, еще раз, еще раз.

Вахман выругался. "Смеющаяся смерть" — Штрумп-

фе рассмеялся. Вахман снова выстрелил. Медно-золотистая курчавая головка упала и больше не поднялась.

Наступили сумерки, усталые вахманы (они за этот день – 23 июля 1944 года – расстреляли 700 поляков и евреев) решили, что засыпят ямы землей на следующий день, и ушли.

Макс Левит выполз из-под детских трупов и ушел в лес.

Мы встретились со столяром из Варшавы в деревне Вулька – Окроник, в двух километрах от бывшего Треблинского лагеря. К нам пришли 62-летний старик-поляк из этой деревни Казимир Скаржинский, работавший с детьми по разброске человеческого пепла. Столяр Макс и крестьянин Казимир Скаржинский поведали нам правду о детях с черной дороги.

